
ЮРИЙ / *Лучшая
семейная проза*

ПОЛЯКОВ

Как блудный
МУЖ
по грибы
ХОДИЛ...



-
- ◆ *Замыслил я побег*
 - ◆ *Возвращение блудного мужа*
 - ◆ *Грибной царь*
 - ◆ *Геометрия любви*



Замыслил я побег... Лучшая проза Юрия Полякова

Юрий Поляков

Как блудный муж по грибы ходил

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Поляков Ю. М.

Как блудный муж по грибы ходил / Ю. М. Поляков —
«Издательство АСТ», 2021 — (Замыслил я побег... Лучшая проза
Юрия Полякова)

ISBN 978-5-17-135713-9

Юрий Поляков – известный русский писатель, мастер современной прозы, автор «бессрочных бестселлеров». В сборник «Как блудный муж по грибы ходил...» включены два его знаменитых романа «Замыслил я побег...» и «Грибной царь», а также повесть «Возвращение блудного мужа». Все три вещи объединены общей, «семейственной» темой. Автор со свойственной лишь ему увлекательной скрупулезностью исследует знакомые ситуации, когда привычная брачная жизнь попадает в зону турбулентности новой любви-страсти. Что делать? Как спасти семью? А может быть, без колебаний с головой броситься в омут новой, «сначальной» жизни? В каждой из трех историй герои поступают по-разному, ведь каждая семья несчастна по-своему. Как всегда, читателя ждут острые сюжеты, парадоксальные суждения, глубокий психологизм, тонкое чувство юмора и утонченная эротика. В сборник также включено эссе «Треугольная жизнь», в котором автор, допустив нас в свою творческую лабораторию, открывает нам тайны ремесла, рассказывая историю создания произведений, вошедших в книгу.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-135713-9

© Поляков Ю. М., 2021

© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Замыслил я побег...	7
1	7
2	10
3	20
4	29
5	37
6	45
7	57
8	63
9	74
10	79
11	85
12	90
13	97
14	105
15	116
16	129
Конец ознакомительного фрагмента.	145

Юрий Михайлович Поляков

Как блудный муж по грибы ходил...

© Поляков Ю.М., 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Замыслил я побег...

Часто думал я об этом ужасном семейственном романе...

А. С. Пушкин

1

– О чем ты все время думаешь?

– Я?

– Ты!

– А ты о чем?

– Я – о тебе!

– И я – о тебе... – Башмаков по сложившемуся обычаю поцеловал коричневый, похожий на изюмину девичий сосок и вздохнул про себя: «Бедный ребенок, она еще верит в то, что лежащие в одной постели мужчина и женщина могут объяснить друг другу, о чем они на самом деле думают!»

– А почему ты вздыхаешь? – спросила Вета, согласно тому же обычаю подставляя ему для поцелуя вторую изюмину.

– Поживешь с мое...

– Я обиделась! – сообщила она, специально нахмурив темные, почти сросшиеся на переносице брови.

– Из-за чего? – превозмогая равнодушие, огорчился он.

– Из-за того! До меня ты не жил... Не жил! Ты готовился к встрече со мной. Понимаешь? Ты должен это понимать!

Свою правоту она тут же начала страстно доказывать, а он терпеливо отвечал на ее старательную пылкость, чувствуя себя при этом опрокинутым на спину поседлым сфинксом, на котором буйно торжествует ненасытная юность.

– Да, да... Сейчас... Сейчас! – болезненно зажмурившись, в беспамятстве шептала Вета и безошибочным движением смуглой руки поправляла длинные спутанные волосы, мятущиеся в такт ее добычливым чреслам.

Эта безошибочность во время буйного любовного обморока немного раздражала Башмакова, но зато ему нравилось, когда Вета внезапно распахивала антрацитовые глаза – и слепой взгляд ее устремлялся в пустоту, туда, откуда вот-вот должна была ударить молния моментального счастья...

Девушка открыла глаза. Но совсем не так, как ему нравилось: взгляд был испуган и растерян. Горячее, трепещущее, уже готовое принять в себя молнию тело вдруг сжалось и остыло. Мгновенно. Башмаков даже почувствовал внезапный холод, сокровенно перетекающий в его тело, будто в сообщающийся сосуд.

«Наверное, так же чувствуют себя сиамские близнецы, когда ссорятся, – предположил он. – Сейчас спросит про Катю...»

Вета склонилась над ним и прижалась горячим влажным лбом к его лбу. Ее глаза слились в одно черное искрящееся око.

– А ты не обманываешь?

– Ты мне не веришь?!

– Тебе верю, но есть еще и она...

– Ты же знаешь, мы спим в разных комнатах.

– Правда?

– Врать не обучены! – оскорбился он, думая о том, как все-таки юная наивность украшает мир.

– Но ведь она...

– Катю это давно не волнует.

– Ее! – Вета обиженно выпрямилась.

– Ладно: ее это давно уже не волнует, – согласился Башмаков.

– Наверное, лет через двадцать меня это тоже волновать не будет. А ты станешь стареньким, седеньким, с палочкой... Я тебе буду давать разные лекарства.

– Знаешь, какие старички бывают? О-го-го!

– Тогда и меня это тоже будет волновать. Я тебя замучу, и ты умрешь в постели!

– Люди обычно и умирают в постели.

– Нет, люди умирают в кровати, а ты умрешь в постели. Со мной!

– Возможно, – кивнул Башмаков и заложил руки за голову.

– Тебе со мной хорошо? – Она снова склонилась над ним, касаясь сосками его волосатого тела.

Грудь у нее была большая, еще не утомленная жизнью, и напоминала половинки лимона. А это, если верить одной затейливой методе определения женского характера, означало «романтическую сексуальность, доверчивость, преданность и безоглядную веру в будущее».

– Мне очень хорошо.

– Очень или очень-очень?

Башмаков подумал о том, что достаточно увидеть мужчину и женщину наедине, чтобы понять: кто из двоих любит сильнее или кто из двоих вообще любит. Тот, кто любит, всегда участливо склоняется над тем, кто лежит, заложив руки за голову.

– Очень или очень-очень? – повторила Вета свой вопрос.

– Очень-очень.

– Между прочим, ты понравился папе!

– В каком смысле?

– Во всех. Он хочет, чтобы мы с тобой обязательно обвенчались!

– Если папа хочет, значит, обвенчаемся...

– Ты будешь ей что-нибудь объяснять? – спросила Вета, высвобождая Башмакова и ложась рядом.

– Наверное, нет. Просто соберусь и уйду...

– А если она спросит?

– Отвечу, что просто люблю другую...

– А если она спросит: «Кого?»

– Не спросит.

– Я бы тоже не спросила. Из гордости.

– Она не спросит из усталости.

– Боже! Как можно устать... От тебя! От этого...

Вета нежно провела пальцами по этому, подперла ладонью щеку и устала на Башмакова с таким обожанием, что он даже застеснялся вскочившего на щеке прыщика.

– Олешек, знаешь, мне кажется, лучше все-таки ей сказать, а то как-то нечестно получается. Если ты все объяснишь, она тебя отпустит. Ведь ты сам говоришь – между вами уже ничего нет.

– А если не отпустит?

– Тогда мы убежим. А потом ты ей с Кипра напишешь письмо.

– Как будет «побег» по-английски?

– А вы разве еще не проходили? «Escape». «Побег» будет «escape»...

– Значит, «беглец» будет «искейпер»? Нет, лучше – «эскейпер». Это как «эсквайр»...

– «Эскейпер»? Такого слова, кажется, нет... – Она нахмурилась, припоминая. – Точно нет. «Беглец» будет «runaway».

– Жалко.

– Чего жалко?

– Что нет такого слова – «эскейпер». Тебя спрашивают: «Вы беглец?» А ты отвечаешь: «Нет, я – эскейпер!»

– Не забудь, «эскейпер», – она чмокнула его в щеку, – мы улетаем в понедельник вечером!

– To fly away. Это мы уже проходили...

– Ты нарочно дурачишься?

– Я не дурачусь. В понедельник я буду готов.

– Не слышу радости в голосе!

– Буду готов! – пионеристо повторил Башмаков.

– Слушай, Олешек, – засмеялась Вета, – а я тебе прямо сейчас еще одно прозвище придумала!

– Да-а?

– Да! «Эс-кей-пер-чик»!

– Какой еще такой «перчик»?

– Даже и не знаю какой...

– Сейчас узнаешь!

– Ах, пощадите мою невинность!

– Не пощажу!

– Что вы делаете, гражданин?!

– Сейчас узнаете, гражданка!

– погоди! Не так. Поцелуй меня... всю!

– всю или всю-всю? – спросил он, стараясь принять более типичную для сфинксов позу.

– всю-всю-всю...

2

Сотрудник валютно-кассового департамента банка «Лосиноостровский» Олег Трудович Башмаков замыслил уйти от жены. Это была уже третья попытка за двадцать лет их брачного сосуществования. Первая состоялась шестнадцать лет назад, когда их дочери Даше было всего четыре года, а сам Олег Трудович (в ту пору просто Олег) работал в Краснопролетарском райкоме комсомола. На эту перспективную службу после окончания МВТУ его определил покойный тесть – начальник Ремжилстройконторы, где разжигалась югославскими обоями, чешскими унитазами, немецкой керамической плиткой и финским паркетным лаком вся руководящая районная мелочовка.

Вторая попытка к бегству, тоже неудавшаяся, началась четырнадцать лет назад и длилась, тянулась, невидимая миру, почти все те годы, пока, изгнанный из райкома по икорному недоразумению, Башмаков трудился в «Альдебаране». У него был долгий производственный роман с Ниной Андреевной Чернецкой, и Олег Трудович в своем затянувшемся беглом порыве сам себе порой напоминал спринтера, сфотографированного с недостаточной выдержкой и потому размазанного по всему снимку...

Обдумывая третий, окончательный и бесповоротный уход из семьи, Олег Трудович постоянно мысленно возвращался к тем двум неуспешным побегам, анализировал их, разбирая на части и вновь собирая, точно детскую головоломку. Он даже старался вообразить, как сложилась бы его жизнь, удайся любая из этих попыток, но неизменно запутывался в причинно-следственном хитромудрии, иногда высокопарно именуемом судьбой.

К побегу Олег Трудович готовился тщательно и старался предусмотреть любую случайность. Он даже с женой был добросердечен и нежен, но ровно настолько, чтобы не вызвать подозрений. Причем Башмаков не делал над собой никаких особенных усилий: нежность, совершенно искренняя, затепливалась в его сердце всякий раз, когда он, взглядывая на пребывавшую в полном неведении Катю, думал о том, что скоро они расстанутся навсегда. Именно это безмятежное неведение жены и вызывало в нем особенную жалость, незаметно переходящую в нежность, которую – для безопасности – приходилось даже немножко скрывать.

В день побега – а это был, как и условились, понедельник – Башмаков взял на работе отгул, или, как выражались банковчане, «дэй офф». Заявление об уходе он решил пока не писать, чтобы не вызывать лишних разговоров и догадок. Вообще удивительно, как это до сих пор никто не позвонил Кате и не сообщил о том, чем еще, кроме банкоматов, занимается в служебное время ее супруг. Впрочем, теперь все настолько заняты собственными проблемами, что даже на полноценную зависть и активную подлость сил не остается. «Окапитализдел народ!» – говаривал в таких случаях незабвенный Рыцарь Джедай.

Олег Трудович с удовольствием представил себе, как заскребет свою глянцевою лысину Корсаков, как сморщится фон Герке, как помчится по банку Гена Игнашечкин, размахивая факсовым обрывком с двумя строчками. Но с какими строчками:

«Прошу уволить меня к чертовой матери по горячему собственному желанию! Башмаков».

Утром эскейпер (так он теперь мысленно именовал себя) спокойно завтракал с женой Екатериной Петровной, обсуждая досадную неугомонность их дочери Дашки. Она накануне позвонила из своей бухты Абрек и радостно сообщила, что очень дешево, по случаю, у одной офицерской жены прикупила замечательную японскую коляску – розовую, всю в оборочках и со специальным электромоторчиком, поэтому коляска может совершенно самостоятельно кататься туда-сюда, укачивая младенца.

– А если будет мальчик? – спросил, доливая себе кофе, Башмаков. – Я где-то читал, что розовый цвет сбивает мальчикам сексуальную ориентацию...

– Помешались все на этой сексуальной ориентации. Как с ума сошли! – рассердилась Катя. – Нет, будет девочка: Дашка на ультразвуке проверялась. Но все равно это очень нехорошая примета! Заранее нельзя ничего покупать. Тем более за два месяца...

– Да, я помню, как ты с пузом все по магазинам бегала и распашонок накупала!

– Тогда об этом не думали. Не до примет было. Достоялся, схватил – и счастлив...

– А может, это и есть счастье?

– Возможно. Ты сегодня поздно? – спросила жена, вставая из-за стола: она выходила из дому на полчаса раньше Башмакова. – Английского у тебя, надеюсь, сегодня нет?

– Нет. Часов в семь буду. Если, конечно, что-нибудь с банкоматами не случится. А ты?

– У меня сегодня шесть уроков. Потом педсовет. Потом дополнительные. Потом зачет у заочников. Слушай, Тапочкин, будь другом, купи хлеба, молока и чего-нибудь вкусенького! Хорошо?

– Хорошо.

Катя еще постояла в прихожей перед зеркалом, внося последние поправки в свой незатейливый учительский макияж, затем вернулась на кухню, поцеловала Башмакова в макушку и ласково провела рукой по спине, напоминая об их вчерашней супружеской взаимности, такой вдруг успешной и такой нечастой, особенно в последнее время.

– Теперь, Тапочкин, я знаю, на что ты еще способен, – и пощады не жди! – крикнула она уже из прихожей и захлопнула дверь.

Олег Трудович дозавтракал, снял халат и начал одеваться. Повязывая перед зеркалом галстук, он вдруг опасливо предположил, будто отражение жены, несколько минут назад подкрашивавшей здесь губы, теперь затаилось в глубинах стекла и внимательно наблюдает за ним. Понимая всю несуразность этого ощущения, Башмаков тем не менее постарался, чтобы его действия ничем не отличались от обычных сборов на службу. Он даже перекрыл газ и взял с собой зонтик, хотя выходил из дому всего на полчаса – чтобы, согласно намеченному плану, возле мебельного магазина договориться о машине для перевозки вещей.

В лифте валялись пустые пивные банки и яркие пакеты из-под чипсов. Пластмассовые кнопки панели были в который раз сожжены, а на полированной стене появилась новая надпись на английском, ставшем в последнее время разновидностью настенной матерщины. Башмаков только начал заниматься на курсах, организованных специально для «пожилых» сотрудников банка, и перевести надпись не сумел, отчего разозлился еще сильнее. Почтовый ящик снова был взломан, газеты изъяты, а взамен вовнутрь брошены презервативные обертки.

«Опять замок надо менять!» – с ненавистью подумал Олег Трудович.

Он представил себе, как однажды застанет малолетнего мерзавца, ломающего почтовый ящик, на месте преступления и, схватив, избьет страшно, до крови – и лицом, обязательно лицом, провезет его по острым развороченным крышкам почтовых ячеек. Он представил себе это так ясно, что даже сжал кулаки и ощутил тяжесть в затылке. Конечно, за изуродованного сопляка придется отвечать, но они с Ветой к тому времени будут уже на Кипре. А раз так, вдруг сообразил Башмаков, можно не злиться и новый замок не вставлять. Надо же, он почти забыл о своем побеге!

«Хорош эскейпер!»

День был ветреный – и оттого ослепительно солнечный. Ревматическая, давно уже бесплодная яблоня, единственная уцелевшая во дворе от прежних деревенских садов, раскачивала ветвями и шелестела свежей листвой. Новая трава на газоне закрыла белесый прошлогодний сушняк, а обнесенное бетоном сельское кладбище, где давно уже никого не хоронили, напоминало зеленый остров посреди некогда белоснежных, а теперь закопченных и облупившихся многоэтажек «спального» района.

Во дворе над мотором старинного желтого «Форда», оперев руки в неряшливо отритованное крыло, задумчиво склонился Анатолич, бывший настоящий полковник, с которым

Башмаков почти три года сторожил автостоянку, а заодно по мелочам обслуживал автомобили. Анатолич и по сей день работал все там же и на тех же условиях: сутки сторожишь, двое дома. По выходным машины для мелкого ремонта ему пригоняли домой, прямо к подъезду.

- Не хочет ехать? – поздоровавшись, полюбопытствовал Башмаков.
- Куда он денется – поедет! – не очень уверенно ответил Анатолич. – На службу?
- Нет, гуляю.
- Неужели деньги в банке кончились?
- Станок сломался.
- Наконец-то! – засмеялся Анатолич. – Дашка-то родила?
- Нет еще – через два месяца, – ответил Башмаков и добавил: – Но коляску уже купила.
- Молодец!
- Вообще-то примета не очень хорошая...
- Все равно молодец! Надо обмыть.
- Завтра. Сегодня хочу на дачу кое-что перевезти.
- Помочь?
- Спасибо. Мелочь – сам дотащу.

Направляясь к мебельному, Башмаков казнился, зачем на ровном месте наврал, ведь завтра он будет на Кипре и уж никак не сможет обмыть с Анатоличем коляску. Когда же побег – очень скоро – станет достоянием подъездной общестственности и вранье выплывет наружу, Анатолич, конечно, обидится: все-таки они дружили, да и к Дашкиному замужеству он имел чуть ли не родственное отношение.

Магазин располагался на соседней улице и был там всегда. Точнее сказать, двадцать лет назад, когда они получили эту квартиру, уже был. Именно в нем Башмаков купил тот диван из гарнитура «Изабель», благодаря которому сорвался его самый первый побег от жены. Только теперь около магазина нет очередей и вертлявых общественников с длинными списками тех, кто жаждет обзавестись сервантом или полутораспальной кроватью и для этого два раза в неделю прибегает на переключку. Теперь магазин называется не «Мебель», но «Ампир-Дизайн», и набит он дорогими итальянскими гарнитурами, и пусто в нем, как в краеведческом музее.

Мысль договориться о машине прямо возле магазина пришла эскейперу, как только он стал обдумывать детали побега. Конечно, в наши времена проще заказать фургончик по телефону, но Олег Трудович сознательно решил прибегнуть к устаревшей, советской форме организации грузовых перевозок. Ведь диспетчер фирмы мог предупредительно позвонить с вечера для подтверждения заказа и нарваться на Катю, а уходить из дому с арьегардными боями, выслушивая проклятия и насмешки жены, он не желал. Поначалу эскейпер предполагал спокойно и по-товарищески с ней объясниться. Но не решился. И теперь ему хотелось уйти в другую жизнь тихо и благородно – как умереть.

Башмаков огляделся: возле магазина стояли несколько обычных мебельных фургонов и два длинномера, предназначенных, вероятно, для перевозки больших гарнитуров в гигантские элитные квартиры и загородные дома. За фурами он обнаружил то, что искал, – аккуратную «Газель». В кабине никого не было. Водилы, как принято, курили кружком и с осуждением смотрели на крутого нового русского, который, рискуя испачкать свой переливчатый костюм, впихивал в «Опель-Универсал» дорогое инкрустированное трюмо.

- Чья «Газель»? – подойдя к ним, спросил Башмаков.
- Ну моя, – ответил пузатый мужик в майке с надписью «Монтана».
- Вы свободны?
- А куда надо?
- На Плющиху.
- Мебеля повезем?

- Нет. Книги. Еще кое-какую ерунду.
- Поехали!
- Нет, не сейчас. В три часа. Мне нужно еще собраться.
- Пятнадцать ноль-ноль. Заказ принял. Куда подать?
- Дом семь. Возле кладбища. Знаешь?
- Это где фотостудия на первом этаже?
- Фотоателье. Третий подъезд. Одиннадцатый этаж. Квартира номер 174... Все понял?
- Кроме одного. Почему чем человек богаче, тем жаднее? – Водитель кивнул на обладателя трюмо – тот теперь никак не мог закрыть заднюю дверцу «Опеля». – Сам-то сколько дашь?
- Сколько стоит – столько дам.
- Тогда договоримся.

Направляясь домой, Башмаков вспомнил о Катином поручении и свернул к гастроному. За последние годы здесь тоже многое переменялось: вместо «Отдела заказов» возник пивной бар, появились стеклянная будочка с надписью «Кодак» и пункт проката видеокассет. Переоборудованные на западный манер витрины ломались от выпивки и жратвы – импортной по преимуществу. За прилавками теперь стояли в основном молодые предупредительные мужики, а сохранившаяся с прежних времен грудастая продавщица уже не швыряла на весы обрубков колбасы и не орала привычное «не хочешь – не бери», но писклявым от тайной ненависти голосом разъяряла дотошным нищим пенсионеркам, чем бельгийский маргарин отличается от французского.

Выполняя волю жены, Башмаков купил хлеба и молока, а потом, опираясь на многолетний семейный опыт, добавил упаковку черкизовских сосисок и маленький торт «Триумф». На выходе он задержался у бара и выпил кружку светлого немецкого пива, отметив про себя, что отечественная традиция недолива благополучно пережила смену общественно-экономической формации и даже усугубилась по причине особой ценности импортного напитка.

«На Кипр, на Кипр! – подумал Башмаков, туманно повеселев от выпитого. – Туда, где не нужно после отстоя пены требовать долива пива!»

«Форд» с поднятым капотом бесхозно стоял на прежнем месте, а на застланном тряпчочкой крыле были разложены отвертки и гаечные ключи. Должно быть, Анатолич поднялся домой за недостающим инструментом. Кражи он не боялся, так как на лавочке по соседству собрались на утреннюю планерку дворовые пенсионерки.

В подъезде пахло хлоркой и прокисшей тряпкой, а это значило – пришла уборщица, достаточно еще молодая женщина с обиженным лицом. Лет десять назад Башмаков встречал ее в районной детской библиотеке, куда иногда – после разоблачительных монологов Кати о безотцовщине в семье – водил Дашку за книжками. Женщина работала в абонементе и говорила с детьми ласковым, даже вкрадчивым голосом:

– Как, неужели ты не читала Киплинга? Ай-ай-ай! Ну нет – никакой мультфильм про Маугли не заменит книгу!

Появившись в подъезде в качестве уборщицы год назад, она, кажется, сразу узнала Башмакова, смутилась и с тех пор почему-то разговаривала с ним отрывисто, выказывая намеренную простоватость, явно стоившую ей страданий:

– Паразиты, каждый день гадят – до дома не донесут! Хоть бы вы домофон установили!

– Установим! – обнадежил Башмаков и пожаловался: – А у меня сегодня опять ящик разворотили...

– И будут... воротить, пока домофон не поставите!

– Поставим! – наобещал Башмаков и вызвал лифт.

История с установкой домофона тянулась уже несколько месяцев: половина жильцов подъезда, включая Башмаковых, давным-давно сдала деньги, а вторая половина отказывалась, мотивируя тем, что агрегат изуродуют на следующий же день, поэтому нет никакого смысла

тратиться, а лучше дождаться, пока врежут домофон в каком-нибудь соседнем подъезде, и понаблюдать, что из этого выйдет. Но во всех соседних подъездах, очевидно, рассуждали точно так же. Уже провели три собрания жильцов, но в результате только озлились друг на друга, поделились на две враждебные партии – «домофоновцы» и «антидомофоновцы», переругались и даже перестали здороваться.

Пока Башмаков ждал лифт, по лестнице вприпрыжку спустился мальчик в хорошеньком джинсовом костюмчике и белоснежных кроссовках. В руках у него была бутылка из-под вина.

– Мам, а если внутри пробка, все равно брать? – уточнил он.

– Выбрось! – буркнула уборщица и с вызовом глянула на Башмакова.

В прихожей Олег Трудович снова посмотрел в зеркало, но уже без всякой мистики по поводу Катиного отражения, а просто так – глянулся и потрогал выдавленный вечер и подсохший прыщик. Озирая себя, эскейпер отметил, что в его узком, чуть болезненном от оздоровительных голодовок лице и особенно в грустных карих глазах есть какая-то мужественная усталость многолетнего путешественника, которая так нравится молоденьким девушкам. Впрочем, с Ветой, кажется, по-другому. Она из тех, кто не знает, куда пристроить и кому подарить свою кажущуюся нескончаемой молодость. В студенческие годы Башмаков и сам на институтский День донора за стакан сока и бутерброд с колбасой сдавал кровь, да еще гордился тем, что его гемоглобин поможет кому-то – слабому и недужному.

Олег Трудович взял в руки массажную щетку, чтобы причесаться, и обнаружил запутавшиеся в алюминиевых штырьках Катины волосы. Один был совершенно седой – и это странно: жена, особенно в последнее время, часто красилась и вообще очень за собой следила. Она даже хотела лечь в Институт красоты, где каким-то новомодным составом выжигали на лице стареющую кожу, а потом образовывалась новая, свежая и розовая, точно на месте зажившей и отвалившейся болячки.

– А если не образуется? – спросил Башмаков.

– Тогда ты меня наконец бросишь! – засмеялась Катя.

В институт она не легла, зато отобрала у Дашки, тогда еще жившей с ними, очень дорогой французский крем, завалившийся, вероятно, еще с тех времен, когда дочь собиралась замуж за брокера по имени Антон.

Причесываться Олег Трудович не стал, спохватившись, что продукты надо убрать в холодильник, а то, не ровен час, получишь взбучку от Кати, не терпевшей беспорядка. Но вдруг вспомнил о побеге и усмехнулся. Надо было начинать сборы. Конечно, проще всего уйти налегке – с зубной щеткой и бритвой. Но тогда вся его прежняя жизнь словно исчезает – и он является в Ветину мансарду седеющим сорокачетырехлетним младенцем. Обдумывая побег, Башмаков заранее решил взять с собой как можно больше вещей, пусть даже их придется потом оставить в Москве или выбросить...

Начать он решил с рыбок. Аквариум, освещенный длинными дневными трубками, стоял теперь в бывшей Дашкиной комнате. Башмаков с женой задумали переоборудовать ее в гостиную, о чем мечтали все годы обитания в этой квартире, но пока купили только здоровенный электрокамин-бар с пластмассовыми, как бы тлеющими полешками и два подержанных, но отлично сохранившихся велюровых кресла.

Аквариум был огромный, десятиведерный, с большой шипастой океанской раковиной вместо банального грота и множеством разнообразных рыбок – от заурядных гуппи-вуалехвостов до очень редких существ, имевших совершенно прозрачные брюшки, – так что можно наблюдать всю последовательность рыбьего пищеварения. Этих страшилок к двадцатилетию свадьбы подарила ему Катя, прежде относившаяся к аквариумным увлечениям мужа равнодушно и даже недоброжелательно.

– Понимаешь, – смеялась она, – я хочу получше разобраться, каким именно образом путь к сердцу мужчины лежит через желудок...

Катя и в самом деле в последние годы стала готовить лучше.

Башмаков склонился над аквариумом, намереваясь выловить трех каллихтовых сомиков – серых с зеленовато-золотистым отливом рыбок, неутомимо роющих усиками в придонном иле. Конечно, интереснее взять с собой петушков, но их уж точно не довезешь – они и в аквариуме-то все норовят сдохнуть. К тому же Вета просила именно сомиков. Олег Трудович пытался ей возражать, мол, на Кипре тоже есть аквариумные рыбки и тащить их из России глупо.

– Нет, я хочу твоих сомиков! – потребовала она. – У них такие же грустные глаза, как у тебя! Особенно – у мальчика...

Не надо было приводить Вету сюда! А главное – не надо было делать *это* на супружеском диване...

Олег Трудович вооружился маленьким сачком и стал осторожно подводить его к замершему от нехорошего предчувствия «сомцу». Главное – не спугнуть, а то спрячется в самую чашу роголистника или, еще хуже, в раковину – не достанешь. Вообще-то для размножения положено иметь в аквариуме одну самочку (она покрупнее) и двух самцов. Но Башмаков, будучи тогда еще неопытным рыбоводом, по ошибке на Птичьем рынке купил наоборот – двух девочек и одного мальчика, которого и стал называть «сомцом». Олегу Трудовичу очень нравилось это придуманное им новое слово.

Вдруг он сообразил, что еще не определился, куда поместить рыбок для перевозки. Отложив сачок, Башмаков отправился на кухню и там, в глубине нижних шкафов, среди редко используемой посуды нашел двухлитровый стеклянный бочонок с плотно приворачивающейся жестяной крышкой. Это было как раз то что нужно, оставалось только пробить в жести отверстие, чтобы рыбки не задохнулись. Сняв крышку, он понюхал банку, и ему почудился слабый запах черной икры, хотя это было невероятно: прошло шестнадцать лет, и с тех пор в бочонке хранились разные крупы, даже специи. Вот и сейчас на дне лежало несколько рисинок, напоминающих муравьиные яйца.

Просто удивительно, что с этой подлой стеклотарой ничего не случилось за столько лет! Сколько сервизов и любимых ваз переколотили... Тут явно была какая-то мистика, ибо бочонок являлся вещью в определенном смысле исторической и сыграл в судьбе Олега Трудовича незабываемо гнусную роль.

А случилось вот что. Башмакова, работавшего в ту пору в Краснопролетарском райкоме комсомола, командировали в Астрахань на Всесоюзный семинар заведующих орготделами – обменяться опытом, покататься в Волге и передохнуть. После прощального банкета каждому участнику семинара вручили по стеклянной бочончку с черной икрой. Все разъехались по домам, а Башмаков задержался, чтобы еще выпивать и повспоминать свою артиллерийскую юность с армейским дружкой, проживавшим, как на грех, именно в Астрахани. Олег и не подозревал, а может, просто позабыл спяну, что как раз в это самое время проводилась операция «Бредень» – против обнаглевших браконьеров, которые вылавливали осетрих тысячами, выпарывали из них икру и бросали драгоценные останки гнить прямо на берегу. Однако на один-единственный день, когда разъезжались заворги с двухлитровыми бочонками, по тихой местной договоренности операция «Бредень» была приостановлена.

И вот вечером следующего дня Башмакова, забывшегося витиеватым хмельным сном в купе фирменного поезда «Волгарь», грубо разбудили люди в милицейской форме и потребовали предъявить багаж. Шифр чемоданного замка он набрал сразу – тот состоял из трех первых цифр номера незабываемой полевой почты. В казарменной песенке, которую Олег вместе с армейским дружкой накануне проорал раз двадцать, не меньше, так и подчеркивалось:

*Мы номер почты полевой
Теряем только с головой!*

Зато, набрав шифр, Олег потом еще долго возился, разгадывая, в какую из четырех сторон откидывается чемоданная крышка. Спасибо, милиционеры помогли. На суровый вопрос, что находится в стеклянной емкости, Башмаков, еще не сообразив обстановку и продолжая пребывать в мире алкогольной всеотзывчивости, ответил согласно своим гастрономическим симпатиям:

– Жуткая дрянь!

Дело в том, что «рыбьи яйца» он не любил с детства: в семье, понятное дело, не приучили, а в пионерском лагере под видом черной икры им однажды дали такую дрянь, что потом все пионеры во главе с вожатыми три дня стояли в очередь к «белым домикам».

– Документы! – потребовал милиционер.

– Аусвайс? – угрожающе засмеялся Олег и стал шарить по карманам, но краснокожего райкомовского удостоверения не обнаружил, а только – паспорт.

– Что же это вы, Олег Трудович, с таким хорошим отчеством, а икру у государства воруете? – попенял милиционер, изучая документ.

– А мне ее подарили! – беззаботно возразил Башмаков, не понимая еще, в чем дело.

Понял он, когда, предъявив стандартное обвинение в браконьерстве и незаконном вывозе рыбной продукции из области, милиционеры стали его ссаживать с поезда на ближайшей станции. Еще можно было все уладить, пройди Башмаков спокойненько в линейное отделение и тихонько попроси старшего звякнуть областному комсомольскому начальству. Но у пьяных свои нравственные императивы. Олег стал вырываться, кричать, будто бы он охренительный московский руководитель, что он всех разжалует в рядовые и даже еще ниже...

Крики и угрозы на участников операции «Бредень» не подействовали, Олегу начали выкручивать руки, и тогда он совершил непростительное для человека, являвшегося, помимо всего, еще и членом районного штаба народной дружины, – Башмаков ударил одного из милиционеров в ухо. Сдачу, как и следовало предвидеть, он получил сразу ото всех. Когда составлялся протокол, Олег, отняв платок от разбитой губы, с пьяной значительностью сообщил, где именно он работает, но документально сей факт подтвердить никак не смог. По этой причине в благородное номенклатурное происхождение своего пленника милиционеры наотрез отказывались верить, даже издевались: мол, если расхититель икры – райкомовец, то они здесь все – министры щелоковы и даже, подымай выше, – чурбановы.

Этот смех задел Башмакова почему-то гораздо больше, нежели полученные тумаки, и, потеряв от обиды всякое соображение, он предложил им позвонить по межгороду в Москву, в приемную первого секретаря Краснопролетарского райкома партии, где круглосуточно дежурил кто-нибудь из инструкторов, а с ними-то как раз Башмаков был коротко знаком по спецстоловой.

Словосочетание «райком партии» в те времена еще имело силу магического заклинания, а может быть, милиционеры захотели торжественно убедиться в том, что задержанный попросту надувает фофана и берет их на пушку. В общем, поколебавшись, астраханские икроблюстители согласились.

Но если Бог хочет кого-то погубить, то прибегает к совершенно уж дешевым сюжетным вывертам. Трубку снял сам первый секретарь Чеботарев – человек, под взглядом которого падали в обморок инструкторы райкома и секретари первичек. Он задержался допоздна, как потом выяснилось, чтобы доработать свое выступление на завтрашнем заседании бюро горкома. Кстати, с этого выступления и начался его стремительный взлет к вершине партийной пирамиды – и очень скоро он вместе со своей знаменитой зеленой книжечкой ушел сначала в горком, а потом – в ЦК.

Услышав от милиционеров знакомую фамилию, Чеботарев потребовал к трубке Башмакова. И тут сыновние чувства, каковые комсомол питал к партии (как к более высокоорганизо-

ванному общественному организму), сыграли с Олегом страшную шутку. Он мерзко зарыдал по междугородному:

– Федор Федорович, они меня тут бьют и не весят!

Испуганный милиционер вырвал у Башмакова трубку и, сerea прямо на глазах, начал сбивчиво ссылаться на инструкцию. Неизвестно, что Чеботарев сказал начальнику отделения, только тот вдруг повеселел и верноподданно, а точнее, верноподлю рывкнул в трубку:

– Есть, товарищ первый секретарь!

Олега умыли, привели в порядок его одежду и посадили на следующий поезд, не забыв вручить бережно обернутый газетами бочонок. Прибыв в Москву со злополучной икрой, Башмаков выяснил: от работы он отстранен и на него заведено персональное дело. Как передавали, взбешенный Чеботарев кричал по этому поводу, что не в икре дело – с каждым может всякое случиться, – но хлюпки и соплееды ему в районе не нужны! И Олег получил строгий выговор с занесением в учетную карточку «за непреднамеренное расхищение госсобственности».

– Тварь ты дрожащая и права никакого не имеешь! – сказал по поводу случившегося начитанный башмаковский тесть Петр Никифорович.

Однако именно ему Олег был обязан спасительным словом «непреднамеренное». Тесть незадолго перед этим выручил председателя парткомиссии чешским комплектом – унитазом и раковиной-«тюльпан». В противном случае Башмакова ожидали бы исключение из рядов и полный, как в ту пору казалось, жизненный крах. А с формулировкой «за непреднамеренное расхищение» это был всего-навсего полукрах. Предлагая смягчить приговор, председатель парткомиссии даже улыбнулся и заметил, что не может человек с таким отчеством – Трудович – быть злостным правонарушителем.

Странноватое это отчество досталось Олегу, понятное дело, от отца – Труда Валентиновича, родившегося в самый разгул бытового авангарда, когда ребятишек называли и Марксами, и Социалинами, и Перекопами... Так что Труд – это еще ничего: могли ведь и Осоавиахимом назвать. Но удивительное дело, имя отца ни у кого не вызывало особого удивления, быстро становилось привычным и звучало почти как «Ваня». Во всяком случае, в 3-й Образцовой типографии никто особенно по поводу имени верстальщика Башмакова не иронизировал и не острил. Конечно, определенную проблему представлял ласкательно-альковный вариант этого нерядового имени. Но мать Олега, Людмила Константиновна, потомственная секретарь-машинистка, проводящая всю жизнь в приемной, называла супруга строго по фамилии. Лишь изредка она игриво растягивала «о» – «Башмако-ов», – и это означало временное благорасположение.

Правда, однажды Олег снял трубку (с годами голосом он стал походить на отца), произнес «алло» и услышал в ответ:

– Трудик, это ты? Ты же обещал перезвонить! Ну, кто такой противный?!

– Папа в поликлинике.

– Да? Э-э... это с работы... Пусть Труд Валентинович перезвонит в производственный отдел.

«А что? Трудик – очень даже ничего!» – подумал Олег, но никому про этот звонок рассказывать не стал.

Зато сам он со своим необычным отчеством намучился. В школе еще ничего – какие там в малолетстве отчества! В классе его звали просто и незатейливо – Башмак. Началось в армии. Уже «карантинный» старшина, изучая список новобранцев, отправляемых на уборку территории городка, заржал, выбрал из кучи шанцевого инструмента самую большую совковую лопату и протянул Башмакову со смехом:

– Давай, Трудович, вкалывай!

Так и пошло. Более того, окружающие не довольствовались самим чудноватым отчеством, а норовили его всячески смешно переименовать. Да и вполне благопристойную фамилию

«Башмаков» тоже почему-то в покое не оставляли. Особенно усердствовал Борька Слабинзон...

– Бедный Тапочкин! – посочувствовала жена, когда раздавленный Олег приплелся домой после парткомиссии.

На самом деле Катя в душе тихо радовалась краху его комсомольской карьеры, ведь именно из-за райкомовского образа жизни тогда, в первый раз, чуть было не распалась их семья. Конечно, не обошлось тут без ревности, ибо вокруг райкома вились социально активные и потому вдвойне опасные девицы. Но главная причина заключалась в другом: комсомольские работники в те времена пили так, словно имели про запас несколько сменных комплектов печени и почек. Комплект между тем был один-единственный, и многие друзья Олега, оставшиеся на комсомольском поприще, вышли из строя гораздо раньше, чем молодой инвалид Павка Корчагин, вынесший на своих плечах, между прочим, революцию, Гражданскую войну и борьбу с разрухой.

– Неприятно, конечно, но не трагедия, – приободрила Катя несчастного супруга.

– А что же тогда трагедия?!

– В пятом классе у одного родителя обе руки кузнечным прессом отдало. Это трагедия!

Трудоустроили Олега по тогдашнему шадящему обычаю совсем неплохо: он стал заместителем начальника отдела в «Альдебаране» – солидном засекреченном институте, работавшем на космос. Но прежде чем уйти в науку, Башмаков еще долго сидел в своем райкомовском кабинете, ожидая, пока, согласно тогдашним китайским церемониям, его освободит от занимаемой должности пленум. Телефоны молчали, инструкторы за ценными указаниями не врывались в кабинет, серьезных бумаг на подпись не приносили. Иногда просили подмахнуть какой-нибудь юбилейный адрес комсомольцу двадцатых годов, на всякий случай продолжавшему скрывать свое знакомство с давно уж реабилитированным генсеком Косаревым. Но даже такие пустячные бумаги заносят лишь в том случае, если секретари и остальные завотделами отсутствовали. Обиднее же всего было, когда члены бюро райкома, с которыми столько выпито и спето, собираясь на заседание, проходили мимо его кабинета с таким видом, словно за дверью давно уже находится мертвое тело, а «труповозка» все никак не доедет. И обида эта осталась навсегда.

А через полгода Башмаков получил из Астрахани заказное письмо – в него было вложено его райкомовское удостоверение. Армейский дружок сообщал, что жена, делая генеральную уборку, нашла документ за диваном. Смешно сказать, окажется эта жалкая книжица с золотым тиснением у Башмакова в поезде – и жизнь его могла сложиться совсем иначе! Хотя, если разобраться, ну, встретил бы он Перестройку, а тем более – 91-й, каким-нибудь партайгеноссе. И что в этом хорошего?

Когда подули теплые ветры обновления и из разных щелей наружу полезли, шевеля усами, свободолюбцы, пострадавшие от прежнего режима, Башмаков тоже поначалу собирался потребовать реабилитации, но два обстоятельства остановили его.

Во-первых, во время многотысячного митинга на Манежной Олег увидел среди демораторов толстенького кротообразного профессора – кумира прекраснотушных тогдашних бузотеров. Этот профессор одновременно с Олегом получал своего «строгача» за то, что брал взятки с абитуриентов и аспирантов (правда, исключительно хорошим коньяком, деликатесными закусками и стройматериалами для дачи). Они сидели в коридоре, ожидая вызова на парткомиссию, и будущий кумир, словно репетируя оправдательную речь, бормотал:

– То, что вы, товарищи, по недоразумению считаете взяткой, на самом деле общепринятый во всем цивилизованном мире гонорар за дополнительные консультации...

А во-вторых, на телевидении появился неопрятный истерический политкомментатор, специализировавшийся на разоблачениях номенклатурных мерзостей. Когда Олег был завотделом, разоблачитель работал методистом районного пионерского штаба, и его с позором

выгнали из комсомола за (как бы это помягче выразиться?) непедagogические приставания к красногалстучному мальчуганству. Два этих факта настолько поразили Олега, что реабилитации он требовать не стал. Но и не стал по тогдашней моде жечь свой партбилет, а оставил его лежать там, где и положено, – в большой коробке из-под сливочного печенья, вместе с просроченными гарантийными талонами, старыми расчетными книжками, злополучным райкомовским удостоверением и прочими необязательными документами.

3

Две самочки («сомоц» все же улизнул и скрылся, как в пещере, в раковине) растерянно металась в своем новом обиталище, тщетно ища, куда бы спрятаться от поразившей их внезапной беды. Эскейпер сжалился над ними и бросил в бочонок пучок водорослей. Рыбки укрылись в траве и затихли.

Башмакову вдруг пришло в голову, что все эти необязательные вещи, которые он собирается взять с собой в новую жизнь, служат для него примерно тем же самым, чем моточек роголистника для усатых рыбок, ошалевших от внезапного великого переселения из родного необъятного аквариума в маленькую переносную стеклянную тюрьму.

Эскейпер глянул на часы: двадцать пять минут десятого. Про то, что он сейчас дома, знает одна только Вета, и ровно в двенадцать, после врача, она должна позвонить для «уточнения хода операции». Вета поначалу хотела сама заехать за Башмаковым и увезти его вместе с вещами, настаивала, обижалась, но ему удалось ее отговорить, ссылаясь на туманные конспиративные обстоятельства. На самом же деле Олегу Трудовичу стыдно было отруливать в новую жизнь на новеньком розовом дамском джипе, ведомом двадцатидвухлетней девчонкой...

Башмаков направился в большую комнату, открыл скрипучую дверцу гардероба и нашел коробку из-под сливочного печенья, спрятанную для надежности под выцветшей Катиной свадебной шляпой. Белое гипюровое платье жена давным-давно отдала для марьяжных нужд своей подруге Ирке Фонаревой, а та умудрилась усесться в нем на большой свадебный торт – и с платьем было покончено. А вот шляпа осталась. Вообще-то шла она Кате не очень, но принципиальная невеста наотрез отказалась ехать в загс в фате, полагая, что не имеет морального права на этот символ невинности. Олегу, честно говоря, было все равно, а вот тестя Петра Никифоровича отказ от общепринятой брачной экипировки беспокоил, кажется, больше, чем тот факт, что его дочь была на третьем месяце, о чем если и не знали, то догадывались многие родственники и знакомые. В конце концов сошлись на шляпе с вуалеткой.

Башмаков примерил шляпу перед овальным зеркалом и беспричинно подумал о том, что мушкетеры, должно быть, на дуэли ходили в фетровых шляпах с петушиными перьями, а на свидания с дамами отправлялись в таких вот белокружевных шляпенциях. Олег Трудович вдруг вспомнил, как в первую брачную ночь они с Катей тихо, чтобы не разбудить тестя с тещей, дурачились, и он тоже для смеху напяливал эту свадебную шляпку... Какие же они были тогда молодые и глупые!

Катя училась на четвертом курсе. Олег тоже на четвертом, правда, уже отслужив в армии. Их институты были рядом: ее, областной педагогический, МОПИ (он даже расшифровывался – «Московское общество подруг инженеров») – на улице Радио, а его, Бауманское высшее техническое училище, МВТУ («Мало выпил – трудно учиться!») – в двух трамвайных остановках, на берегу Яузы.

Но познакомились они, как водится, совершенно случайно. Однажды, дело было осенью, Борька Слабинзон утащил Олега с последней пары в Булонь – так студенты называли Лефортовский парк, раскинувшийся на противоположном берегу Яузы вокруг заросших прудов. Там среди лип и тополей белела ротонда с бюстом Петра Первого, отдохнувшего как-то раз в этих местах по пути из Петербурга в Москву (или наоборот). Рядом с ротондой высился большой стеклянный павильон, радовавший пивом и жареными колбасками за двадцать с чем-то копеек.

Друзья только что вернулись с «картошки», где буквально изнемогли от плодово-ягодного крепкого – единственного алкогольного напитка, продававшегося в сельпо. Каждый вечер, засыпая в дощатом сарае, выделенном студентам под общежитие, они мечтали о пиве, пусть даже бадаевском, кисловатом и беспенном.

– Где ты, страна Лимония? – стонал Слабинзон. – Где вы, пивные реки, населенные воблой и вареными раками?

Настоящая фамилия Борьки была Лобензон, а прозвище Слабинзон ему придумал Башмаков в стройотряде в Хакасии, когда Борька отказался таскать мешки с цементом, ссылаясь на наследственную грыжу. В отместку Олег молниеносно получил от остроумного друга сразу две кликухи – Тунеядыч и Тапочкин. И обе пристали навсегда.

Насосавшись в павильоне пива, которое в ту пору юный организм прогонял через себя без всяких последствий, и наевшись жареных колбасок, друзья отправились погулять в парк, чтобы без свидетелей изругать опостылевшую советскую действительность. Смешно сказать, но они уже в ту пору были убежденными сторонниками частной собственности, рыночной экономики и многопартийной системы. Как-то раз, перемешав пиво с портвейном «Агдам» и шатко стоя на косогоре, друзья, как Герцен и Огарев, дали, а точнее, нестройно проорали торжественную клятву посвятить жизнь борьбе за освобождение Отечества от коммунистической диктатуры. Стояли они возле старинного тополя, взбугрившего вокруг землю своими узловатыми корнями. Внизу сквозь черные стволы лип виднелся пруд, а дальше, за Яузой, развернул каменные крылья родной институт, похожий издали на огромного кубического орла... И это было незабываемо!

Однако наутро, встретившись на занятиях и стыдливо переглянувшись, друзья молчаливо условились, что никаких неосторожных клятв они никогда не давали, а пить надо все-таки меньше. В институте из уст в уста потихоньку передавалась жуткая история второкурсника Стародворского, вякнувшего в 68-м в людном месте что-то неуставное по поводу пражских событий, потом внезапно арестованного за «фарцовку» и с тех пор героически валившего в Коми лес, из которого изготавливались карандаши «Конструктор» для более благоразумных студентов.

Друзья стали поосмотрительнее. Сталкиваясь с очередным омерзительным проявлением совковой действительности – как то: очередь в магазине, транспортное хамство или смехотворное мракобесие комсомольского собрания, – они на людях лишь обменивались иронично-мудрыми взглядами, словно вляпавшиеся в коровье дерьмо философы-руссоисты. Только порой, наедине, им удавалось отвести душу.

Гуляя в тот исторический день по Лефортовскому парку и любуясь осенним лиственным золотом, они, помнится, гневно осуждали отвратительно низкое качество советского пива. С западными аналогами его сближало лишь одно свойство – мочегонное. И вдруг друзья наткнулись на двух подружек, тоже, как потом выяснилось, соскочивших с последней пары, с тем чтобы обсудить, но конечно же не политические, а сердечные проблемы.

Башмаков смолоду не умел знакомиться с девушками. Ему казалось, любая, даже самая продуманная попытка завязать знакомство выглядит в глазах прекраснополого существа глупо и унизительно. Однажды – ему было лет тринадцать – в их класс всего на одну четверть определили новенькую: она приехала из Кустаная с матерью, командированной на курсы повышения квалификации. Девочка была очень хороша той многообещающей подростковой свежестью, из которой потом обычно ничего не получается. Но Олег всех этих тонкостей не понимал и влюбился до умопомрачения, до ночных рыданий в подушку, до преступного невыполнения домашних заданий, чего с ним до этого не случалось, хотя и в особо успешных учениках он тоже не числился.

Труда Валентиновича вызвали в школу, объяснили, что у ребенка начался сложный переходный возраст, и посоветовали обратить на сына особенное внимание. Он и обратил в тот же вечер, используя при этом широкий солдатский ремень, оставшийся от одного из мужей бабушки Дуни. Уроки Башмаков снова стал готовить, но любовь от порки только окрепла. Как сказал Нашумевший Поэт:

*Свист отцовского ремня
Научил любви меня...*

На взаимность Олегу рассчитывать не приходилось, особенно после того, как на уроке физкультуры он по-дурацки, под общий хохот, свалился с «коня». Поэтому единственное, что он мог себе позволить, это тоскливо разглядывать нежный девичий пробор, разделявший две аккуратные тугие косички, заплетенные черными капроновыми лентами: новенькая сидела на первой парте, а он – на предпоследней.

Мысль о практической дружбе с девочкой даже не приходила ему в голову. И в самом деле, с какой стати? Башмаков был обыкновенной классной заурядностью: в школьной самодеятельности не участвовал, боксом не занимался, талантом весело пререкаться с учителями не обладал, а стригся и вообще за пятнадцать копеек «под полубокс». Лишь однажды он прославился на всю школу, решив неожиданно для себя олимпиадную задачку по математике, в которой запутались даже учителя, но это произошло позже, когда новенькая уже исчезла в своем Кустанае.

Олег вернулся после летних каникул, возмужав, обретя дополнительный сердечный опыт и разучив в лагере безумно популярный в тот год танец «манкис». Одним словом, он был готов! Но место новенькой на первой парте оказалось пустым. Сидевшая с ней рядом одноклассница (как, кстати, ее звали?) передала ему на перемене записку – всего-то три слова: «Эх ты, Башмак!» А от себя еще добавила, что Шурочке (новенькую звали Шурочкой – это точно!) Олег, оказывается, понравился с самого начала, и она всю четверть ждала, когда же он, недогадливый, к ней наконец подойдет...

– А чего же сама-то? – оторопел Башмаков.

– Ты плохо знаешь женщин! – расхохоталась одноклассница (как же ее все-таки звали?).

Однако, несмотря на этот жестокий детский урок и последующий душевный, а также плотский опыт, запросто знакомиться с девушками Башмаков так и не выучился, хотя теоретически отлично сознавал глупую элементарность этого нехитрого действия. Но на него неизбежно напал какой-то фатальный столбняк, похожий на тот, какой испытываешь в детстве, стоя у доски и не умея из-за изнурительного внутреннего упрямства ответить вызубренный урок. И если бы не Слабинзон, мастер съема и виртуоз охмуряжа, со своей будущей женой в тот день Олег ни за что бы не познакомился.

– Кто такие? Почему не знаю?! – грозно спросил Слабинзон, выскочив из-за куста и заступив дорогу шедшим по аллее подружкам.

По Москве как раз гулял слух об очередном маньяке, надругательски убивавшем исключительно женщин в красном.

– А вы кто? – робко поинтересовалась бойкая обычно Ирка Фонарева, одетая, как на грех, в бордовую юбку.

– Мы аборигены. Мы тут живем. Меня зовут Борис, а это мой друг Олег Тапочкин! – сообщил Слабинзон.

– Какая смешная фамилия! – прыснули подружки, решив, видимо, что маньяков со смешными фамилиями не бывает.

– А отчество у него еще смешнее!

– Какое же?

– Тунеядыч!

– Да-а? – Девушки глянули на Олега, точно на заспиртованного уродца.

Во время этого представления Башмаков, удерживая на лице вымученную цирковую улыбку, старался придумать, как перешутить остроумного друга и перехватить инициативу, но так и не сумел ничего изобрести. Маленький, прыткий Слабинзон тем временем уже мертвой бульдожьей хваткой вцепился в рослую, чрезвычайно одаренную в тазобедренном смысле

Ирку Фонареву, а замешкавшемуся Олегу досталась вторая подружка – тоненькая, плосконекая, бледненькая Катя, вся женственность которой была сосредоточена в больших голубых глазах и тяжелых золотых волосах, собранных на затылке в кренделеватый пучок.

Как потом выяснилось, гуляя по Булони, подружки обсуждали очередной роман Ирки, на сей раз с доцентом кафедры русского фольклора, необыкновенно темпераментно исполнявшим народные песни, в особенности «Пчелочку золотую»:

*Сладкие, медовые
Сисочки у ней.*

Поскольку весь роман был выдуман, обсуждать его можно было до бесконечности. Вообще примерно раз в месяц Ирка рассказывала Кате с яркими подробностями про то, как утратила невинность, причем всякий раз удачливым соблазнителем выступал новый мужчина. Можно было подумать, она, подобно Венере, приняв ванну с хвойно-пенистым средством «Тайга», выходила из воды подновленно-девственной.

Друзья до темноты развлекали девушек анекдотами про забывчивых до идиотизма профессоров, встречающихся только в студенческом фольклоре, а также делали таинственные намеки на свою причастность к секретной мощи отечественной космонавтики.

– Между прочим, на каждого студента МВТУ в ЦРУ заведена специальная папка! – значительно сообщил Слабинзон.

– А в эту папку приставания к девушкам записываются? – кокетливо спросила Ирка Фонарева.

Потом они поехали провожать каждый свою избранницу домой. Точнее, Слабинзон поехал провожать избранницу, а Башмаков – Катю. В несвежем подъезде ее дома он попытался сорвать халявный поцелуй и получил уважительный, но твердый отпор, а также номер телефона. Честно говоря, звонить он не собирался.

Но на следующий день позвонил и, запинаясь, предложил встретиться. Катя подготовилась к первому свиданию серьезно: надела новый кримпленовый брючный костюм, подкрасилась и завила волосы, которые в течение всей встречи тревожно ощупывала. Оказывается, она, опаздывая к назначенному сроку, сушила накрученные на бигуди волосы, засунув голову в нагретую духовку (с фенами тогда было туго), и теперь, трогая кудри, проверяла – не подпалилась ли. Но об этом Олег узнал лишь через несколько лет, когда в разговорах с женой впервые стал мелькать грустно-трогательный вопрос: «А помнишь?» Этот вопрос с годами мелькает все чаще, становясь все трогательнее и все грустнее...

– А помнишь, как я думала, что Тапочкин – твоя настоящая фамилия? Знаешь, как я переживала!

– А если бы я и в самом деле был Тапочкиным, неужели ты за меня не вышла бы?

– Вышла, конечно, но фамилию твою не взяла бы...

Встретившись у памятника Пушкину, они пошли в кинотеатр «Россия» и в темном зале, перед экраном, где, разрываясь между любимым мужем и любящими мужчинами, металась саженная Анжелика, состоялся их первый поцелуй. Месяца три они ходили в кино, в Булонь, на вечеринки, устраиваемые в основном богатеньким Слабинзоном в большой квартире своего заслуженного деда-вдовца.

Башмаков боролся. Точнее, его невинность, подпорченная страшной предармейской неудачей с достопамятной Оксаной, вела изнурительную борьбу с неиспорченной невинностью Кати. Борьба закончилась взаимным лишением невинности на неразложенном шатком диване в Катиной квартире – ее родители уехали по турпутевке в Венгрию.

– У тебя, наверно, было много женщин? – спросила Катя, приняв отчаянный напор Башмакова за многоопытность.

- А у тебя? – отозвался Олег, гордый внезапным успехом.
 - А ты не видишь?
 - Больно?
 - Немножко. А вообще-то так несправедливо – будто пломбу с тебя сняли...
 - Ирке расскажешь?
 - Ты, Тапочкин, хоть и опытный, а совсем дурак!
- Потом они вместе отстирывали диванное покрывало.
- А девушки у тебя тоже были? – поинтересовалась Катя.
 - Есть вопросы, на которые мужчины не отвечают! – выдал Олег и почувствовал себя

профессиональным сокрушителем девственности.

Ирка Фонарева к тому времени успела поведать подруге головокружительную историю о том, как необузданный Слабинзон овладел ею чуть ли не в заснеженной ротонде возле бюста Петра Первого. Впрочем, сам Борька отказался эту версию как подтвердить, так и опровергнуть. Боже, какие они веселые дураки были в ту пору! Ирка теперь работает учительницей где-то под Наро-Фоминском, мужа давно выгнала, вырастила в одиночку двоих детей, а в довершение всего ей недавно оттяпали на Каширке левую грудь. Катя ездила поведать и вернулась вся заплаканная.

Выслушав исповедь о любви в ротонде, скрытная Катя так ничего и не рассказала подруге – ни про тайные встречи в отсутствие родителей, ни про то, как, начитавшись популярной в те годы «Новой книги о супружестве», они с Олегом, разложив диван, устраивали упоительные практические занятия. Не сказала она и про то, что глава о противозачаточных средствах в этой книге помещалась в самом конце, и когда они до нее добрались, Катя была уже на втором месяце.

Первой забила тревогу мать – Зинаида Ивановна, по каким-то лишь женщинам внятным приметам и наблюдениям сообразившая, что к чему. Она, конечно, знала о существовании Башмакова, даже один раз встретила их, шляющихся в переулках возле дома и не знающих, куда пристроить свое вырвавшееся на волю вожделие. Зинаида Ивановна потом дотошно расспрашивала дочь, но скрытная Катя, честно хлопая голубыми глазами, созналась: да, мол, есть такой мальчик и он иногда приглашает ее в кино. Мать жила на свете не первый день и понимала, что слово «кино» означает у молодежи несколько большее, чем важнейшее из искусств, но такого от послушной и тихой Кати не ожидала никак.

Отец, Петр Никифорович, узнав, побагровел и впервые за все годы воспитания влепил дочери полновесную пощечину, а потом, отдышавшись, приказал:

- В воскресенье пригласишь своего... Ромео на обед!

Петр Никифорович был человек, неожиданно для своей профессии начитанный. Этим он повергал в изумление деятелей культуры, сугубо конфиденциально забредших к нему в контору в поисках ремонтных дефицитов. Вообразите: вы артист театра и кино, задумчиво разглядывающий чешскую керамическую плитку, за которую вам предстоит переплатить вдвое, а сидящий за конторским столом златозубый мужичок в телогрейке, поигрывая складным метром, вдруг невзначай бросает:

– Прав, прав чертяка Анатолий Франс! У художника два смертельных врага – вдохновение без мастерства и мастерство без вдохновения...

И вы, потрясенный артист театра и кино, пришедший за дефицитами, тут же приглашаете странного мужичка на свою премьеру. То же самое делали режиссеры, художники, писатели, композиторы и прочие творческие подвиды. Впервые посетив Катину квартиру, простодушный Башмаков обомлел: кругом были афиши с дарственными надписями знаменитостей, фотографии, запечатлевшие Петра Никифоровича, одетого уже не в телогрейку, а в замшевый пиджак, среди великих мира сего. На журнальном столике невзначай лежал новый сборник Нашумевшего Поэта с благодарственным экспромтом на титульном листе:

*За Петра Никифору́ча
Ноги всем повыворо́чу!*

Олег прибыл на обед с тремя гвоздиками, бутылкой «Алиготе» и тем внутренним ознобом, какой ощущаешь, входя в кабинет зубного врача. На Башмакове был его единственный костюм, купленный еще к выпускному школьному вечеру и теперь еле вмещавший возмужавшее тело. Обедали обильно и неторопливо. За закусками обсуждали международную обстановку, в особенности недавнюю поездку Брежнева в Париж. Петр Никифорович рассказал, что по поводу каждого визита генсека за рубеж снимают роскошные полуторачасовые фильмы, которые в урезанном виде показывают по телевизору, а полностью они идут только в одном месте – в зале документалистики кинотеатра «Россия». Оказалось, Петр Никифорович не пропускал ни одного такого фильма, ибо увидеть в них можно было совершенно невообразимые вещи. Например, как Брежнев примеряет в музее наполеоновскую треуголку или как он делает непредвиденное движение, и по слаженному смятению свиты становится ясно, что каждый второй в ней – охранник, а у одного даже на мгновение из-под плаща выглядывает ствол карабина.

Первое блюдо, огнедышащее харчо, посветили проблемам современного отечественного кино. Петр Никифорович днями побывал на рабочем просмотре фильма, который через год собрал все мыслимые и немыслимые премии. После просмотра он подошел к режиссеру и посоветовал ему разобраться с темпоритмом в седьмой и восьмой частях ленты. Режиссер с критикой согласился и сообщил, что Петр Никифорович и в прошлый раз оказался совершенно прав, отговаривая его отделять ванную вагонкой. Так и вышло: дерево от сырости перекобочилось и пошло нехорошими черными пятнами...

Олег слушал очень внимательно, а Катя сидела вся отрешенная и до эфирности скромная. Башмаков изредка тайком бросал взгляды на сложенный диван, и все, что происходило на нем, начинало казаться ему нереальным, вычитанным в наивном эротическом рассказе. Такие рассказы, переписанные в школьную тетрадку, тайно передавались надежному товарищу под партой.

Второе, нежнейшие свиные отбивные, съели за разговорами о самом Олеге, его семье и жизненных планах. Башмаков отвечал на вопросы обстоятельно, особенно нажимая на всевозрастающую роль космических исследований и лучезарное будущее некоторых счастливых, к этому делу причастных.

- Факультет-то у тебя какой? – спросил дотошный Петр Никифорович.
- «Э». Энергетический...
- Неплохо. А учиться еще сколько?
- Два года.
- М-да...

Тут впервые за весь обед в разговор вмешалась будущая теща Зинаида Ивановна, одетая в красное мохеровое платье и кудлатый парик. До этого она просто молча таскала с кухни еду, а на кухню – грязные тарелки и вдруг ни с того ни с сего спросила, сколько Олег будет получать после института. Петр Никифорович посмотрел на жену с усталой укоризной отчаявшегося дрессировщика.

На десерт он вызвал Башмакова в свой уставленный всевозможными подписными изданиями кабинет и спросил напрямки:

- Жениться будешь, поганец, или на аборт девку погоним?
- Я готов! – отрапортовал Олег.
- Единственно правильное решение! – кивнул будущий тесть. – Кооператив за мной.

Родители Башмакова, все еще напуганные той давней, преармейской историей с шалопутной Оксаной, мгновенно благословили сына. Труд Валентинович только осторожно поинтересовался:

- Жить-то где будете?
- Наверно, у них. А потом Петр Никифорович кооператив обещал.
- Добро!

Свадьбу сыграли через месяц, так что живот у Кати еще заметен не был. Вообще-то по закону ждать надо было два месяца, но Петр Никифорович договорился. Гуляли в снятом по такому случаю стеклянном кафе «Ивушка», неподалеку от Ремжилстройконторы тестя. Он в свое время отремонтировал квартиру директорше кафе, и уж она теперь расстаралась. Стол был уставлен таким количеством дефицитов, что у неизбалованных гостей щемило сердце от печального понимания: этой икры, севрюги, лососины, колбасы, языков, крабовых салатов и прочего на всю оставшуюся жизнь не налопаешься.

Главным гостем был Нашумевший Поэт. Когда кричали «горько», в меру захмелевший Башмаков целовал невесту страстно, ибо все предшествовавшие бракосочетанию недели Катя, несмотря на полную теперь уже безопасность и даже известную законность диванных объятий, Олега близко к себе не подпускала. Много лет спустя, когда в очередной раз нахлынуло «А помнишь?», она созналась, что делала это по совету матери, постоянно твердившей про то, как от ее подруги очень завидный жених утек, натешившись, буквально за несколько дней до свадьбы. И совсем уж недавно выяснилось, что красавец-жених, правда, вскоре спившийся и сгулявший, утек от самой Зинаиды Ивановны. Если бы в нее, уже беременную, не влюбился обстоятельный паркетчик Петр (впоследствии – Никифорович) и не взял ее, как говорится, с пузом, неизвестно, чем бы дело и кончилось.

Впрочем, известно чем: старший брат Кати Гоша рос бы без мужского призора, не окончил бы Институт связи и уж точно не работал бы теперь электриком (а на самом деле специалистом по подслушивающим устройствам) в посольском зарубежье. Он специально, выпросив отпуск, прилетел на свадьбу любимой младшей сестренки и поразил гостей, даже Нашумевшего Поэта, моднучим клетчатый пиджаком и галстуком совершенно внеземной расцветки. Подарил же Гоша молодым мясорубку, которую благодаря нескольким сменным насадкам можно было использовать еще как соковыжималку и миксер. Этот агрегат, кстати, так и лежит до сих пор в коробке на антресолях, ибо, рассчитанный на мягкие заграничные вырезки, замертво поперхнулся первой же отечественной косточкой.

Родители Олега поначалу сидели на свадьбе тихо и даже показательно скромно, всем видом давая понять, что прекрасно сознают свой крайне незначительный вклад в этот брачный пир. Труд Валентинович даже поздравительный тост построил таким образом, что чуткий и непьяный гость мог уловить в нем нотки извинения. Отец говорил о том, что в верстальном деле есть такое понятие – «бабашки». Это безбуквенные пластинки, которыми метранпаж забивает пустое место в наборе. Так вот: главное в жизни, а тем более в семейной, не быть бабашкой!

Людмила Константиновна страшно обиделась, усмотрев в «бабашках» намек на себя, и в отместку заменила мужу довольно вместительную рюмку на ликерный наперсток. А после того как он даже в таких трудных условиях умудрился перебраться и пошел в народ – не разговаривала с ним неделю.

В народ же он пошел вот по какому поводу. Труд Валентинович с детства любил футбол, не пропускал ни один стоящий матч, а спортивные газеты читал, как Священное Писание. О мировых и европейских чемпионатах он знал все: когда состоялся, где, кто победил, кто судил, какие игроки и на каких минутах забили голы. Причем Башмаков-старший помнил все финальные, полуфинальные, четвертьфинальные и даже отборочные матчи!

Сначала он только снисходительно прислушивался к доносившимся с другого конца стола наивным разглагольствованиям о предстоящем чемпионате мира. Но потом мужчины невежественно заспорили о прошлом, мюнхенском чемпионате, и Труд Валентинович вынужден был вмешаться:

– Герд Мюллер забил не первый, а второй гол... Первый забил Брайтнер с пенальти, который назначил судья Тейлор, когда голландцы сбили Хольценбайна...

Олег давно заметил: едва отец начинал рассуждать о своем ненаглядном футболе, у него загорались глаза, а голос становился в точности как у комментатора Озерова, бодрый и азартный. Еще он заметил, что Людмила Константиновна в такие минуты почему-то испытывала за мужа чувство неловкости, почти переходящее в ненависть.

– Может, вы еще вспомните, на какой минуте забили? – иронически осведомился препротивнейший мужичонка из Мосремстроля, приглашенный Петром Никифоровичем с какими-то непрыстыми целями.

– Попробую. – Башмаков-старший на мгновение (скорее для драматизма) призадумался. – Голландцы... на первой минуте с пенальти. ФРГ – на 25-й минуте с пенальти и на 43-й – в игре. С подачи Бонхофа...

– А у голландцев кто забил? – не унимался въедливый мосремстроевец.

– Неескенс.

– Пенальти немцам за что назначили?

– За то, что сбили Круиффа...

– Точно! Простите, как вас зовут?

– Труд Валентинович.

– Труд Валентинович, разрешите с вами сердечно выпить!

Весь оставшийся вечер отец был в центре общего мужского внимания. Вокруг него собрался значительный кружок болельщиков, ловивших каждое слово футбольного пророка, вот так запросто встреченного среди шумного свадебного бала. Нашумевший Поэт, впадавший в депрессию, если кто-то из прохожих на улице его вдруг не узнавал, оказался на свадьбе в обстановке небывалого, совершенно наплевательского невнимания и чисто футбольного хамства. Он страшно обозлился, устроил Петру Никифоровичу скандал и горько продекламировал:

*Да! О футболе и не боле
Болеет русский человек...*

Тем не менее свадьба шла своим чередом. Назююкавшийся Слабинзон, прежде чем упасть, высказал замысловатый тост о роли своевременно выпитой кружки пива в мировой истории, а потом сообщил, что, будь на то его воля, на месте жениха мог бы сидеть и он сам.

– А вот это уж хрен! – буркнул Петр Никифорович, который вне рамок общения с творческой интеллигенцией исповедовал легкий бытовой антисемитизм.

Когда гости лихо, так, что дребезжало каждое стеклышко, отплясывали под уханье полупрофессионального ВИА, Ирка Фонарева подкралась и поведала молодым («Тебе, Олержек, теперь можно!») сногшибательную историю утраты невинности на заднем сиденье «Вольво» (а ведь по Москве «Вольв» в ту пору разъезжало ну от силы полдюжины!).

– Кто? Ну скажи! – затомилась Катя.

– А ты мне на свадьбу платье свое одолжишь?

– На свадьбу?

– А ты как думала!

– Одолжу. И шляпу тоже. Ну?!

Ирка зашептала ей на ухо, и по округлившимся Катиным глазам стало понятно, что такого феерического вранья даже она, ко всему уже привыкшая, от подруги не ожидала. Потом подбрел освеженный холодным умыванием и избавившийся от желудочных излишков Слабинзон. Он долго, словно не узнавая, смотрел на Башмакова и наконец тяжело вымолвил:

– Какого человека теряем!

Первая брачная ночь прошла на хорошо знакомом диване, но свелась в основном к прислушиванию – спят ли Петр Никифорович с Зинаидой Ивановной, а также к тщетным попыткам любить друг друга беззвучно и бесскрипно.

Пробудившись спозаранку от сухости во рту, Башмаков услышал негромкую беседу.

– Что-то тихие у нас молодые! – удивлялась теща.

– До свадьбы нашумелись, поросята, – отвечал тесть.

Дашка родилась через шесть месяцев, как и положено. Из роддома Олег привез ее уже в двухкомнатную кооперативную квартиру на окраине Москвы, в Завьялове, где белые новостроевские башни от самой настоящей деревни отделял всего лишь засаженный капустой овраг.

Подруливая на такси к дому, они встретили похоронную процессию: селяне на полотенцах тащили к кладбищу открытый гроб. Голова нестарого еще покойника была чуть приподнята, точно он потянулся губами к поднесенной ему рюмке. Женщины плакали. Мужики нетрезво роптали. Мальчик лет пяти, наверное, сын усопшего, держался за край гроба рукой, будто за край движущейся телеги.

– Надо маме позвонить, – сказала Катя.

– Зачем?

– Узнать, похороны – это к счастью или наоборот...

Когда начинающий папа Башмаков нес от такси к подъезду хлопающий глазами сверток, у него вдруг появилось предчувствие, что он вот сейчас его уронит, даже какой-то подлый зуд в руках ощутился. Так иногда бывает, если переносишь безумно дорогую вещь, например антикварную вазу. Но Олег, конечно, донес Дашку благополучно и положил на самую середину затянутой сеткой детской кровати.

Кровать вместе с прочей мебелью и утварью преподнес молодоженам Петр Никифорович. Родители Олега путем неимоверного напряжения всех материальных ресурсов подарили на новоселье всего-навсего холодильник «Север» – шумный и ненадежный агрегат, производивший больше снега, нежели холода. Вообще тесть, несмотря на свою начитанность, оказался мужиком надежным и все правильно понимающим. Даже когда Олега выгнали из райкома и трудоустроили в «Альдебаран», он, позлившись, потом вдруг посветлел и объявил, что мужчина должен заниматься наукой, а не бумажки туда-сюда носить или врать с трибуны. Хороший человек был Петр Никифорович, а умер от незаслуженной обиды...

4

Но это произошло гораздо позже, а в ту пору, когда эскейпер первый раз пытался сбежать от Кати, все еще были живы-здоровы. И если бы кто-то вдруг заявил, что не пройдет и десяти лет, как Киев станет самостоятельной столицей, а Прибалтика будет соображать на троих с НАТО, что по всей России забабахают бомбы, подложенные под сиденья банкирских лимузинов, а газеты заполнятся объявлениями темпераментных девушек, готовых оказать любые интим-услуги состоятельным господам, – так вот, человек, сболтнувший такое, уже через час сидел бы в кабинете психиатра, куда его, вдоволь насмеявшись, переправили бы из КГБ.

Вздыхнув, эскейпер снял свадебную шляпу, присел на диван и открыл коробку из-под сливочного печенья. Сверху лежало несколько больших черно-белых фотографий. Все стандартные семейные фотографии аккуратная Катя давно разместила в особых альбомах, сделав даже специальные тематические наклейки: «Даша», «Свадьбы», «Похороны», «Экскурсии», «Отдых», «Дни рождения», «Школа» и так далее. Альбомы стояли на книжной полке, а нестандартные снимки хранились в этой коробке из-под печенья, подаренного Кате благодарными родителями какого-то двоечника.

На первой фотографии была вся их выпускная группа. Вверху реял овечья лентами и обложенный лаврами год 1980-й. А в самом низу лежали, по довоенной моде раскинувшись в разные стороны, Башмаков и Слабинзон. Придумал это художество, разумеется, Борька. После окончания института он при помощи деда-генерала поступил в аспирантуру. Узнав, что тесть «распределил» Башмакова в райком, Слабинзон презрительно засмеялся:

– Коллаборационист!

Надо заметить, Олег не хотел работать в райкоме, а собирался ехать в засекреченный Плесецк, но мудрый Петр Никифорович, выслушав возражения романтического зятя, строго процитировал Честертона:

– Если не умеешь управлять собой, научись управлять людьми!

Наполовину сломленный, Башмаков еще полночи проспори́л в постели с Катей и наутро согласился. Первый секретарь райкома комсомола Шумилин сильно одалживался у тестя, ремонтируя квартиру, и взял Олега на работу после ленивого собеседования. Скандальная по тем временам история с кражей из райкома знамени произошла, кстати, на глазах Башмакова. Шумилин вскоре после этого перешел на другое место, и работать новоиспеченному инструктору пришлось уже под началом нового первого – Зотова, вознесенного на эту должность прихотью Федора Федоровича Чеботарева.

На втором снимке заведующий орготделом райкома Башмаков, одетый в строгий аппаратный костюм с неизменным клетчатым галстуком, набычившись от важности, вручал переходящее Красное знамя. Кому – осталось за кадром. О том, что вскоре его выгонят из райкома, Олег еще не ведал. Фотография была сделана, кажется, вскоре после того, как сорвалась его первая попытка уйти от Кати.

А началось все с того, что Олег по делу и без дела засиживался в райкоме допоздна, приходил домой выпивший и страшно голодный. Он любил вскрыть пару баночек рыбных или мясных консервов из продовольственного заказа, отрезать большой ломоть черного хлеба, посыпать его солью и очистить луковку. Понятно, под такую закуску не добавит граммов сто пятьдесят – преступление против человечности. Но понятно и то, что чувствовала молодая тонкая женщина, учительница изящной словесности, когда среди ночи к ней в постель вваливалось законное животное, благоухающее луком и водкой, да еще начинало предъявлять грубые права на взаимность. Надо страдать зоофилией, чтобы испытывать от этого хоть какую-то радость.

Как уважающая себя молодая жена, Катя утром в презрительном молчании собиралась и уходила на работу в школу, а потом сердилась на мужа долго и самозабвенно. Зато в те редкие воскресные вечера, когда обида отступала, а Башмаков, бледный, как падший ангел, мучился от трезвой неуютности, вовлечь его в брачные удовольствия было почти невозможно. По молодости лет Катя старалась быть соблазнительной, вместо того чтобы быть требовательной.

Так продолжалось довольно долго. Олег выпил уже достаточно для того, чтобы из инструктора стать заведующим орготделом. Но однажды поутру выведенная из себя Катя заявила мужу, едва он продрал полупроспавшиеся глаза:

- Значит, так, собирайся и уходи!
- Как это? – обалдел Олег.
- А вот так – ножками!
- Не уйду!
- Уйдешь! Ты здесь, между прочим, не прописан!

Для восстановления исторической перспективы необходимо вспомнить, что жили они в кооперативе, купленном тестем. Башмаков, выражаясь грубым, но справедливым народным языком, был примаком. И не просто примаком, а примаком непрописанным. Когда оформлялся кооператив, родители стояли в очереди на квартиру и попросили Олега пока не выписываться из коммуналки. Благодаря этой уловке им удалось получить впоследствии на двоих двухкомнатную, а не однокомнатную квартиру.

- А как же Дашка? – жалобно спросил гонимый муж.
- А Дашенька, когда вырастет, меня как женщину поймет!

И тогда Олег испугался. Это был как бы двухслойный испуг. Верхний слой имел чисто номенклатурную природу: развод для заведующего отделом райкома по тем временам означал если и не завершение карьеры, то серьезные трудности. Но был и второй слой, глубинный: Башмаков абсолютно не представлял себе, как станет жить без жены и дочери, как переедет назад к родителям. И Кате очень понравился испуг мужа. Она стала прибегать к этой мере внутрисемейного устрашения утомительно часто: сказались молодость и неопытность. Правда, всякий раз Башмакову удавалось вымолить не так уж далеко упрятанное прощение, после чего они оказывались в постели, и Катя, зажмурившись от счастья, прощала Олега до изнеможения.

«Может, поэтому она меня и выгоняла?» – много лет спустя, помудрев и став матерым эскейпером, догадался Башмаков.

Но тогда каждая новая ссора, каждое царственное требование собирать вещи и уматывать, каждое вымаливание прощения – все это накапливалось в примацком сердце Башмакова, точно свинцовые монеты в свинье-копилке. И недалек был тот день, когда очередная монетка намертво застрянет в щелке и не останется ничего другого, как жახнуть копилку об пол – раз и навсегда!

После окончания института Олег продолжал общаться со Слабинзоном. Борька поступил в аспирантуру и втихую женился на скрипачке Инессе, своей дальней родственнице, пышноволосяй миниатюрной девушке с фаюмскими глазами. Олег, единственный из института, был приглашен на свадьбу, чинно протекавшую в большой сталинской квартире Борькиного деда Бориса Исааковича – вдовца и отставного генерал-майора, читавшего какой-то спецкурс в военной академии.

Башмаков был в очередной ссоре с Катей, пришел на свадьбу один и очень переживал, что впопыхах схватил у грузин возле метро несвежие тюльпаны. Обычно покупкой букетов занималась Катя, она долго ходила по рынку, приглядывалась, принимовалась и даже прищупывалась к бутонам, холодно отшивала стоявших за прилавками назойливо-высокомерных кавказцев. Казалось, букет она покупает не для подарка, а себе, причем на всю жизнь, рассчитывая, что именно эти самые цветы, свежие, без единой подвялилки, и положат на ее, Катину, могилку. В результате в гости они всегда опаздывали.

Впрочем, Башмаков тоже опоздал, а точнее, задержался в райкоме. В просторной генеральской гостиной за большим овальным столом сидело человек двадцать – такого количества печальных глаз, собранных в одном месте, Олегу до сих пор видеть не приходилось. Не приходилось ему слышать и столько умных до непонятности разговоров. Когда Слабинзон, представляя Башмакова родственникам, назвал место его службы, в печальных глазах промелькнуло отчетливое уважение к названию организации и почти неуловимое презрение к человеку, в этой организации работающему.

Из обрывков разговоров и содержания тостов Башмаков сделал несколько выводов. Во-первых, Борькин отец, популярный уролог, очень переживает из-за того, что эстетствующие молодожены не позволили ему развернуться в полную мощь и сыграть свадьбу в хорошем загородном ресторане. Во-вторых, чуть ли не половина собравшихся давным-давно подали заявления и ждали разрешения на выезд из страны. Правда, родители невесты пока еще колебались, ибо не знали, как поступить с семейной реликвией и главным родовым достоянием – старинной скрипкой, стоившей на Западе безумные деньги. В-третьих, Борис Исаакович, блестящий офицер-фронтовик, так и застрявший со своим «пятым пунктом» в генерал-майорах, тогда как его товарищи по академии дошли чуть не до маршалов, страшно этим обижен, но тем не менее уезжать не желает. Улавливались в разговорах и еще кое-какие тонкости предотъездной жизни, но понять их было так же невозможно, как профану вникнуть в профессиональный спор узких специалистов.

Определенно, из всех присутствующих напился только Слабинзон и под недоуменный шепот родственников, бросавших сочувственные взоры на невесту, был (не без помощи Башмакова) вытеснен в дедовский кабинет и уложен на кожаный диван с откидывающимися валиками. Инесса старалась выглядеть безоблачно веселой и даже станцевала со свекром вальс, а с Борисом Исааковичем – чарльстон. Кстати, жить молодожены собирались у вдового генерала. Борькина мать, которая в молодости – худенькая и безусая – была, наверное, ослепительно хороша, наклонилась к Олегу и доверительно сообщила, что о лучшей жене для своего сына и мечтать не смела. Ветхая подруга усопшей Борькиной бабушки покачала головой:

– Но мальчик слишком пьет!

– Ах, Изольда Генриховна, мы так огорчены! Вы меня понимаете! – Борькина мать почему-то покосилась на Башмакова. – Мы так надеемся на Инессу. Она очень благоразумная девушка.

Олег вздохнул и на всякий случай налил себе полрюмки.

Через полгода Слабинзон разочаровался в браке и заявил, что еще не готов каждое утро завтракать с одной и той же женщиной, а от скрипичных концертов на дому ему хочется выть по-волчьи. Инессу, чье чрево, к счастью, еще не стало футляром для новой очаровательной скрипочки, он возвратил родителям, и та довольно скоро вышла замуж за другого своего дальнего родственника – авангардного композитора. Они получили разрешение на выезд, и Борька помогал своей бывшей жене и ее новому мужу паковать вещи, даже вызывал Олега для погрузочно-разгрузочных работ. А со старинной скрипкой все обошлось: Борькин отец, лечивший от хронического простатита какого-то мощного гэбэшника, добыл бумагу, заверявшую, будто инструмент этот самый наиобыкновеннейший и никакой особой ценности не имеет. По прибытии на историческую родину скрипка была продана, и на эти деньги куплены дом, обстановка и автомобиль. Кстати, в этом самом доме Борькины родители после переезда в Израиль и жили, пока не перебрались в Америку.

Но это случилось через много лет, а тогда, избавившись от жены, Борька остался холостяковать в дедовой квартире, предоставленной в полное его распоряжение, так как Борис Исаакович с утра до ночи сидел в своем кабинете и сочинял книгу о командарме Павлове, а точнее, о том, как надо было готовиться к войне и воевать, чтобы немцы дальше Бреста не продвинулись. Вставал дед рано, и когда Слабинзон, ведший рассеянный аспирантский образ жизни,

продирал глаза, на кухне его ждал завтрак, а в случае особенно тяжкого пробуждения – обед с графинчиком водки, настоянной на апельсиновых корочках.

– Это по-нашему, по-ассимилянтски! – говаривал Борька, отдышавшись после первой, реанимационной рюмочки.

В ту пору Олег часто бывал у Слабинзона. Они сидели и пили под лимончик выдержанный коньяк. У Борькиного отца дареными бутылками были забиты все подсобные помещения в квартире и на даче. Очевидные излишки он время от времени сплавлял сыну, хоть и страшно злился на него за отставленную Инессу: из-за этого на их семью обиделись многие родственники. Борькин отец был одним из лучших урологов Москвы и специализировался на новомодном тогда хламидиозе – недуге, поражающем всех людей, ведущих мало-мальски половой образ жизни. Переехав в Америку, он открыл свою консультацию на Брайтон-Бич. Народ повалил к нему валом, в основном московские еще пациенты. Он часами мог болтать о прошлом с бывшим директором гастронома, а ныне апоплексическим говоруном, для которого триппер, подхваченный в 60-х годах на квартирном диспуте о физиках и лириках, стал во временной перспективе чуть ли не самым ярким воспоминанием молодости. За эту возможность повспоминать о былой удали, видимо, и ценили Борькиного отца, постаревшего и отставшего от передовых методов мировой урологии.

Итак, Башмаков и Слабинзон частенько сиживали на просторной кухне, и Борька, прихлебывая коньячок, наставлял:

– Жениться, Тунеядыч, нужно только в промежутке между клинической и биологической смертью, и то лишь для того, чтобы было кому тебя похоронить!

Изредка к ним выходил задумчивый Борис Исаакович, удрученный страшными просчетами в деле подготовки Красной армии к войне с фашистами.

– А знаешь, дед, что нужно было сделать, чтобы немца сразу задробить?

– Что?

– Сталина шлепнуть!

– Не уверен, – качая головой, отвечал генерал.

– Еврей-сталинист – страшный случай! – констатировал Слабинзон, дождавшись, когда дед скроется в кабинете.

Иногда они, как в былые студенческие времена, шли гулять по вечерней улице Горького или ехали в Булонь, и Слабинзон начинал нахально клеить встречных девиц. Но с девицами обычно ничего не получалось: былой кураж и обаяние юной необязательности куда-то ушли. Жалкая развязность Борьки и хмурая озабоченность Башмакова, в очередной раз забывшего стащить с пальца обручальное кольцо, приводили к тому, что хорошенькие, знающие себе цену москвички на вопрос: «Девушка, куда вы идете?» – отвечали: «С вами – до ближайшего милиционера!»

– А как ты относишься к продажной любви? – задумчиво глядя вслед удалявшейся юбчонке, спрашивал Слабинзон.

– Да как тебе сказать... – уклонялся Башмаков.

В ту безвозвратно ушедшую эпоху сексуального бескорыстия продажная любовь была для Олега чем-то запретно-таинственным, наподобие закрытого распределителя для крупной номенклатуры, куда комсомолят, понятное дело, не допускали.

– Я тоже так считаю, – соглашался Борька. – Покупать женщин так же бессмысленно, как одуванчики. Они же под ногами...

Под ноги попадались обычно лимитчицы, клевавшие на Борькины подходцы в надежде, если повезет, расплеваться с проклятым общежитием и осесть на квартире у москвича. Однако при ближайшем рассмотрении они оказывались настолько неаппетитными, что на таких Башмаков не обращал никакого внимания даже в первую неделю после возвращения из армии.

И тогда разочарованный Слабинзон начинал выступать:

– Ты посмотри на эти рожи! (Речь шла о прохожих.) Это же вырожденцы! Это страна вырожденцев! Ты понимаешь, Тунеядыч?!

Олег вглядывался в усталые и, конечно уж, не аристократические, а порой, что скрывать, затейливо-уродливые лица прохожих, потом переводил взгляд на Слабинзона, тоже статью и лепотой не отличавшегося, вздыхал и соглашался:

– Кошмар!

– Архикошмар! Страна лохов... Нет, архилохов! Я здесь просто задыхаюсь! – продолжал Борька страстно. – Ты можешь себе представить, у нас после защиты на кафедре накрывают стол, пьют водку под селедку, а потом песни поют! Нет, ты представляешь?! «Парней так много холостых на улицах Засратова...» А член-корреспондент Ничипорюк – членом его по корреспонденту! – про гетмана Дорошенко соло хреначит! Интеллигенция, твою мать! Представляешь?

Олег вспоминал, как любит попеть во время семейного застолья его отец, как отплясывает, выпив лишку, личный друг композитора Тарикуэллова Петр Никифорович, как и сами они в райкоме, расслабившись, режут комсомольские песни, и отвечал:

– Представляю...

– Нет, морда райкомовская, ничего ты не представляешь!

Олег в свою очередь начинал жаловаться на Катю, на постоянные унижительные попытки выставить его из дому. Это ведь с возрастом понимаешь, что жаловаться людям на собственную жену так же нелепо, как на свой рост или, скажем, рельеф физиономии.

– И ты терпишь?! – задыхался Борька от возмущения. – Из-за карьеры, да? Она ноги тебе должна мыть, когда ты домой приходишь! Знаешь, Тунеядыч, сколько баб голодных вокруг? Только свистни! Я, как развелся, первое время каждый день с новой спал, три раза у отца лечился, а потом надоело – одно и то же. Иногда снимешь какую-нибудь, ведешь домой и думаешь: а вдруг у этой – поперек? Приведешь, разденешь – нет, как у всех, вдоль...

Слушая такие рассказы, впечатлительный Башмаков совершенно забывал о безрезультатных прогулках по улице Горького и завидовал свободной, полной чувственного изобилия жизни Слабинзона. Сам он, правда, уже успел дважды бестолково изменить Кате. Первый раз в буквальном смысле с соратницей – бухгалтершей из финхозсектора райкома – во время гулянки по случаю дня рождения комсомола. Ускользнув от всеобщего ликования, они соединились на ворохе переходящих вымпелов, хранившихся вместе с другой атрибутикой в специальном чуланчике. Однако романа не получилось: пышнотелая соратница компенсировала свою усидчивую профессию прямо-таки тайфуноподобной сексуальностью – и это напугало малоопытного Башмакова. Но бухгалтерша, надо отдать ей должное, потом всегда прикрывала своего мимолетного любовника, если тот задерживал отчетность по взносам. Хорошая была девушка. По слухам, много лет спустя она вышла замуж за турка, ремонтировавшего развороченный в 93-м Белый дом, и уехала в Стамбул.

Второй раз Башмаков изменил Кате с активом – с секретарем комсомольской организации кукольного театра. Это была маленькая, худенькая актриска, игравшая в спектаклях роли царевичей и говорящих животных. Сошлись они на выездной комсомольской учебе в пансионате «Березка» – отправились вечером погулять в ближайшую рощу и вернулись лишь под утро, все в росе...

Кукольница влюбилась в Башмакова, кажется, не на шутку. Она даже однажды пригласила Олега вместе с дочкой на шефский спектакль. Когда в конце представления актеры возникли над ширмой каждый со своей куклой, черная плюшевая Багира вдруг помахала лапой Дашке, сидевшей в первом ряду.

– Ты ее знаешь? – изумилась девочка.

– Кого? – уточнил осторожный папа.

– Багиру!

– Немножко...

Выслушав восторженный рассказ дочери о том, как ее в переполненном зале признала за свою настоящая кукольная пантера, Катя только тяжело вздохнула, подозревая измену.

– Дочка у тебя – очаровашка! Вылитый папа! – радостно сообщила актриска Башмакову во время очередного свидания на случайной квартире. – Такие же большие глазки... Такие же густые волосики... Я подарю ей куклу!

– Не надо, жена догадается.

– Ах, ну конечно... Извини!

Но в постели, надо сказать, актриса и сама чем-то напоминала тряпичную куклу, а может быть, просто Башмаков оказался плохим кукловодом – теперь уж не разберешь. Иногда ведь счастье совождения зависит от пустяка – от черемухового сквознячка в форточку. Впрочем, все можно объяснить проще: Башмаков любил жену.

После нескольких встреч он бросил актриску. Передавали, что девушка очень переживала разрыв и даже во время спектакля однажды, отговорив свой текст, заплакала, прижимая к груди царевича. Зато Олег, возвращаясь теперь домой к Кате, мог не напрягаться, придумывая очередной аврал в райкоме, он был почти счастлив, чувствуя себя чистым и непорочным, как замызганный московский голубь.

И все же... Ранний брак, он понял это со временем, делает мужчину сексуальным завистником. Несмотря на собственный блудодейский опыт, Башмакову казалось, что у Борьки все это происходит совсем иначе, с неторопливой изысканностью, без тяжких обязательств и последующих угрызений совести.

Впрочем, чужая постель – потемки. Слабинзон поначалу, как и Борис Исаакович, решил остаться в Союзе. И вдруг тоже подал заявление. Из-за несчастной любви. Он познакомился на улице с рослой хохлушкой из Днепропетровска, провалившейся на вступительных экзаменах в МГУ. Она была действительно хороша: рост под сто восемьдесят, длинные темно-русые волосы, богачейшие плечи и грудь, а кроме того – огромные светло-карие глаза, до середины которых долетит редкий мужчина. Олег, впервые увидав ее, на несколько минут лишился дара речи. Слабинзон же влюбился до полной потери ориентации во времени и пространстве.

– Понимаешь, Тунеядыч, когда я слышу ее охренительное хохляцкое «г», во мне происходит направленный атомный взрыв! Это плохо кончится...

Он сознавал ничтожность своих шансов и решил взять девушку хитростью. Она искала жилье в Москве – и Борька нашел ей комнату, причем совершенно бесплатно. Это была комната в дедовской квартире, где Борис Исаакович устроил мемориальный музей своей покойной жены: фотографии в рамках, большой портрет комсомолки Аси Лобензон кисти Альтмана, любимые книги, одна даже с автографом Маяковского, кровать с никелированными шарами, застеленная кружевным покрывалом... Борис Исаакович изредка с благоговением заходил в этот музей и шепотом разговаривал со своей покойной супругой о прошлом, а может быть, и о будущем. Кроме него, никто больше входить в эту комнату права не имел. Как Слабинзону удалось уговорить деда освободить помещение от вещей и пустить туда квартирантку – неведомо и непостижимо!

Девушку звали Валентиной, но Борька называл ее Валькирией, а за глаза, учитывая ее статью, – «полуторабогиней». Он подавал ей кофе в постель, а когда она шла в ванную, с замиранием сердца предлагал потереть спинку, но всегда безрезультатно. О том, чтобы взять девушку силой, не приходилось даже думать: однажды вечером, якобы дурачась, Слабинзон затеял с ней возню на кровати, и Валькирия так придавила бедного влюбленного, что он потом неделю с трудом ворочал шей.

Валентина устроилась воспитательницей в детский сад, и Борька, совершенно забросив кандидатский минимум, помогал ей прогуливать малышей, а когда те не хотели строиться в

пары, чтобы идти на обед, изображал злого Серого волка. Девушка громко хохотала и поощрительно пихала Слабинзона в бок:

– Ну ты игрун!

И он чуть не падал в обморок от ее несказанного фрикативного «г».

Наконец Борька, собравшись с силами, получив согласие Бориса Исааковича и наплевав на письменно-телефонные проклятия родителей, присмотревших ему на исторической родине в жены еще одну дальнюю родственницу, предложил своей Валькирии руку и сердце вкупе с нажитыми дедом материальными ценностями, включавшими 21-ю «Волгу», томившуюся без дела в теплом гараже под домом. «Полуторабогиня» посмотрела на него сверху вниз, нежно взъерошила пушок на ранней Борькиной лысинке, расхохоталась и молвила:

– Ну что ты, Боренька, разве можно породу портить?

Вскоре она съехала с квартиры, заплатив за проживание по среднесмоковским расценкам, и вышла замуж за вдовца – милицейского капитана, водившего к ней в группу дочку. Капитанова жена умерла после операции аппендицита в результате чудовищной врачебной ошибки. В подобных случаях говорят: «Ножницы в кишках забыли...» Капитан стал попивать, да и работа у него была ненормированная – с засадами и задержаниями. Валентина несколько раз вечером отводила девочку домой, потому что никто за ней так и не пришел. Однажды она привела ребенка в детский сад утром...

Слабинзон неистовствовал несколько месяцев, шлялся черт знает где, пил страшно, попробовал даже колотья. Он не желал слушать разорительных воплей матери, доносившихся в Москву по тщательно прослушиваемой международной линии, рвал, не читая, многостраничные письма отца, которые тайными диссидентскими тропами (среди видных отказников тоже попадались урологические больные) доходили до Москвы буквально за несколько дней – в то время как обычный конверт шел месяцами. Непросыхающий Борька грубо обрывал даже деда, и тот все никак не мог до конца рассказать ему историю курсанта Комаряна, стрелявшегося из-за несчастной любви к дочери преподавателя тактики современного боя полковника Черепахина. До конца эту историю, причем несколько раз, выслушал Башмаков, регулярно приходивший утешать друга.

Дочь полковника Черепахина, удивительно похожая на молодую актрису Ладынину, однажды, как гений чистой красоты, спустилась с небес в академию на новогодний бал, танцевала весь вечер только с Комаряном, подарила ему в зарослях кадочных пальм множество поцелуев и даже оставила свой телефон. А через несколько дней выяснилось, что она выходит замуж за другого – главного инженеришку какого-то оборонного заводика. Как многие офицеры-фронтовики, Комарян имел личное наградное оружие. На операционном столе спасал его чуть ли не сам великий хирург Вишневский – и спас. Но из академии неудачливого самоубийцу, конечно, отчислили. Позже он поступил в университет и всю жизнь потом преподавал в школе историю. Ученики относились к нему с трепетом, принимая страшную пробоину в черепе за фронтовое ранение, в чем он их педагогично не разубеждал, хотя имел и настоящие боевые раны. Иногда Комарян участвовал в вечерах встреч выпускников академии (все-таки комиссовали его с последнего курса!) и каждый раз с тоской смотрел на своих высоко взорливших однокашников, на их прибавляющиеся от встречи к встрече звезды. Смотрел и вздыхал:

– Если бы все вернуть! Стреляться из-за неверной женщины так же глупо, как стреляться из-за неудачно выбранного арбуза... Сходи на базар – выбери другой!

Вот такая грустная история. А ведь Башмаков мог рассказать и свою историю. Она пусть без стрельбы, но тоже невеселая. Каждому мужчине есть что по этому поводу рассказать. Но Борька никого не желал слушать, стараясь остаться наедине со своим разрушительным любовным горем. Среди многочисленной отъезжающей и отъехавшей родни пошел страшный слух, что Лобензоны прямо-таки уже потеряли ребенка, замечательно талантливого мальчика, аспиранта и будущего крупного ученого. Мать бросилась в советское консульство, просилась назад,

чтобы спасти сына. Но ей объяснили, что это невозможно, так как, уехав из СССР, она совершила предательство, а такие вещи не прощаются.

И вдруг Борька сам, без всякой помощи, остановился, пришел в себя и подал заявление на выезд. Разрешение ему, учитывая оборонную, засекреченную специальность, конечно, не дали, а с кафедры, разумеется, пришлось уйти. Чтобы не угодить в тунеядцы, он устроился за какие-то смешные деньги осветителем в народный театр при заводе «Красный Перекоп», где начальствовал давний пациент его отца. Однако надо было подумать и о заработке: преодоление большой и чистой любви с помощью множества маленьких постельных дружб требует определенных расходов. Сначала Борька зарабатывал перепродажей импортных бюстгалтеров, которыми его снабжал также бывший пациент отца – директор универсама «Лыткарино». Когда директора посадили, наступили трудные времена, и Борька попытался реализовать портрет бабушки кисти Альтмана. Конечно, Борис Исаакович памятное полотно продать не позволил, но книгу с автографом Маяковского не отстоял. С этого и началось знакомство Слабинзона с миром антикваров.

В предотъездные годы Олег виделся с Борькой редко. Иногда Слабинзон приезжал к нему в гости, как он любил выразиться, на выселки. Друзья, чтобы остаться наедине, выходили на балкон и, поплеывая вниз с одиннадцатизэтажной высоты, рассуждали о женщинах или беззлбно переругивались. Нет, они не ссорились... Но Слабинзон вдруг прозрел в своем студенческом дружке типического представителя злой силы, упорно не выпускавшей его из СССР. Он не успокоился и потом, когда Башмакова с позором выгнали из райкома:

– Довели вы страну, коммуняки проклятые, с вашей драной советской властью!!

– Здрате! – обижался Башмаков. – Это не моя бабушка, а твоя на Дону советскую власть устанавливала! Моя бабушка гусей под Егорьевском пасла...

Про устанавливавшего в Егорьевске советскую власть дедушку он благо разумно умалчивал.

– Так бы и пасла до сих пор, если б не моя бабушка Ася! А вместо благодарности вы меня держите в этой хреновой стране...

– А вот этого не надо!

– Так я и предполагал. Тунеядыч, ты становишься антисемитом! И когда начнутся погромы, ты меня не спрячешь!

– Спрячу.

– Не-ет, не спрячешь!

Но эти разговоры начались позже, а тогда Слабинзон, еще не травмированный своей большой любовью и суровыми буднями отказника, относился к райкомовской деятельности приятеля с насмешливым благодушием и, выслушав рассказ Башмакова о семейных утеснениях, вдруг страшно возмутился этим скобарством и решительно посоветовал:

– А ты возьми и уйди!

– Куда?

– Да хоть ко мне. Только кровать с собой захвати. У меня один станок. Будем хороводы вместе водить!

– А Борис Исаакович?

– Деду все равно – он сейчас командарма Павлова реабилитирует и Мехлиса ненавидит.

5

Эскейпер положил фотографии на широкую ручку румынского дивана. Ручка была изгрызена двортерьером Маугли, купленным после многомесячного Дашкиного нытья. Диванную ручку шенку, впрочем, простили, но после съеденных Катиных модельных туфельек пес был отдан на перевоспитание Петру Никифоровичу, пережил его и теперь, еле волоча ноги, скрашивает одинокую садово-огородную старость Зинаиды Ивановны.

Диван за эти годы совсем расхотелся и стал для супружеского сна почти непригоден. Катя собралась переставить его в предполагаемую гостиную, которая благодаря величине этого румынского отщепенца, наверное, сразу превратится в своего рода диванную. А для сна и сопутствующих ему удовлетворений она задумала купить арабскую кровать. М-да, юным телам под любовь требуется еще меньше квадратных метров, чем под могилу, а остывающей плоти подавай арабское раздолье. И слава богу, что не купила она эту чертову арабскую кровать! Ведь как обидно, если тебя не просто бросают, а бросают в новой, мягкой, широкой и безлюдной, как Аравийская пустыня, кровати! А с другой стороны – остаться одной на старом, добром, многое помнящем диване еще обиднее. Башмаков, используя условную и несколько завышенную среднемесячную цифру, подсчитал, сколько же примерно раз они с Катей обладали друг другом на этом диване, и поразился внушительности полученного результата.

Диван с толстыми ножками в виде львиных лап из румынского гарнитура «Изабель» был куплен на премию за успешное проведение районной отчетно-выборной конференции. Кате он сразу не понравился. Скорее всего, дело было вот в чем: до этого все покупки они делали сообща, подолгу обсуждая даже такие мелочи, как узоры на носках, а приобретению чего-то более основательного, скажем, пиджака, пылесоса или велосипеда для Дашки, предшествовали многодневные прения. И вдруг, представьте себе, радостный муж впихивает в квартиру огромный и совершенно несогласованный диван!

Конечно же, Башмаков восторженно объяснил, как это произошло. Неся домой премию и будучи до неузнаваемости трезв, он заглянул в мебельный магазин возле дома, чтобы прицениться к прикроватной тумбочке, о которой они с Катей грезили вот уже полгода. И надо ж случиться, что какой-то простодушный старикан из ветеранской очереди, покупавший по открытке румынский гарнитура «Изабель» (а открытку он ждал, между прочим, больше года!), не захотел брать диван, ссылаясь на маленькие размеры своей квартиры. Активист со списком куда-то в этот миг отлучился, и пока продавщица бегала звонить знакомым, мечтавшим именно о таком невероятно дефицитном диване, Олег договорился со стариком – тот сделал вид, будто передумал и диван берет. Все получилось очень удачно: у ветерана был заказан мебельный фургон, а жил он, надо ж так совпасть, в соседнем квартале! Таким образом, за перевозку договорились заплатить пополам, в чем, собственно, и состояла стариковская выгода, не говоря уже о внезапном покупательском счастье Олега.

Выслушав этот возбужденно-радостный рассказ мужа, Катя передернула плечами и заявила, что диван совершенно не подходит им ни по стилю, ни по размеру – и она никогда к этому мебельному чудовищу близко не подойдет. Но тем же вечером не только подошла к дивану, но и абсолютно голая лежала на нем, перебирая взмокшие Олеговы вихры и умиротворенно попиливая его за необдуманную покупку.

Этот диван Башмаков и собирался в качестве «станка» перевезти к Слабинзону, уходя от жены. Но легко сказать – перевезти!

Во-первых, по тем советским временам машину нужно было заказывать чуть не за месяц. Допустим, заказал, но где гарантия, что именно в тот день, который обозначен в квитанции, или хотя бы накануне Катя в очередной раз погонит Башмакова из дому? А уехать просто так, ни с того ни с сего Олег не мог. Побежать сразу после нанесенной обиды к мебельному магазину и

взять левака? Но это теперь все вдруг в леваков превратились, а тогда, при советской власти, можно было зря пробегать и вернуться ни с чем.

Во-вторых, диван был нестандартный, и грузчики в свое время намучились, пока, разобрав на части, пропихивали его в квартиру. Уйти же из семьи так, чтобы через день-два на грузовике с блудливой улыбкой мебельного сквалыжника вернуться за диваном – этого Олег позволить себе не мог. Ему тогда, по молодости лет, казалось, будто браки должны распадаться так же красиво, даже ритуально, как заключаются. В общем, благодаря трудновывозимому дивану семья сохранялась еще несколько месяцев.

И вот тут-то с ведомостями уплаты членских взносов к Башмакову зашел комсорг автобата лейтенант Веревкин, молодой человек с вызывающе длинным носом и лицом, выразившим некую изначальную обиду на жизнь. Со временем Олег понял, что такое выражение вырабатывается у людей совсем не под ударами судьбы, а обретается еще, возможно, в ту безмятежную пору, когда плод, благоденствуя в ласковых водах материнского лона, уже почему-то имеет претензии к своему внутриутробному положению. Впрочем, Веревкин теперь генерал (в 91-м он, будучи комбатом, привел свои грузовики на защиту Белого дома), и всякий раз, видя его по телевизору, Олег поражается, до какой степени человека меняют должность и удачно подобранные очки.

В тот вечер лейтенант принес, кроме ведомостей, бутылку водки и два плавленых сырка. Рабочий день кончался, никого из начальства в райкоме уже не было, Олег запер дверь кабинета, и они начали выпивать, неторопливо анализируя перспективы ухода первого секретаря Зотова на работу в ЦК ВЛКСМ, что неизбежно привело бы к цепочке благотворных кадровых перемен в райкоме. Но тут вся проблема была в легендарной зеленой записной книжке Чеботарева, обыкновенной телефонной книжке, изготовленной для международных надобностей и поделенной на две равные части: первая с русским алфавитом, а вторая с латинским. Посещая любое мероприятие, будь то закрытое партсоборание Союза писателей или торжественное открытие пункта молочного питания, Чеботарев неизменно имел при себе зеленую книжицу. Осматривая подчиненную ему территорию, слушая выступления или расспрашивая народ, он вдруг приказывал помощнику, вертевшемуся поблизости:

– Уточни-ка фамилию вон того трудящегося!

Получив ответ, Федор Федорович доставал книжку и вписывал туда фамилию. Вся штука заключалась в том, в какую часть книжки он вписывал человека. Если в русскую, то через некоторое время везунчика повышали в должности или награждали. Если же в латинскую, то несчастного ждали скорое крушение и суровое наказание. И определить, в какую именно часть книжки вносят твою фамилию, издали было невозможно. Оставалось мучиться и ждать.

Зотов был обыкновенным комсоргом на электромеханическом заводе, и однажды Чеботарев внезапно приехал к нему на отчетно-выборное собрание. В зале стоял страшный шум – к концу дня работяги уже успели поднабраться. Седеющий от ужаса прямо на глазах, секретарь парткома завода пытался призвать собравшихся к порядку, но его голоса никто не слышал. И тогда, тоже не кристально трезвый, Зотов выскочил на трибуну и в четыре пальца свистнул так, как обычно свистел крановщику, работавшему под самой крышей цеха в вечном гуле. Народ сразу затих – и можно было начинать собрание. А Федор Федорович покачал головой, вынул книжицу, перешепнулся с помощником и сделал две записи. Через неделю секретаря парткома сняли, а Зотова взяли в райком комсомола. На недавней отчетно-выборной конференции Чеботарев внимательно посмотрел на Зотова и сделал в зеленой книжице какие-то записи. Теперь все ждали результатов.

– К нам бы его с книжкой, в батальон! – недобро молвил, разливая, Веревкин.

И, выпив, стал жаловаться на начальство, въедливое, вороватое и всячески препятствующее служебному росту молодого взводного. Башмаков в свою очередь наябедничал на Катю,

со слезливой хмельной обидчивостью сообщив, что жена регулярно гонит из дому, а он не может уйти из-за проклятого дивана, хотя есть даже где и жить.

– Ерунда ерундовая! – успокоил лейтенант (слова его, разумеется, даются в литературном пересказе). – В следующий раз, как погонит, звонишь мне, я приезжаю через час на «КрАЗе» с бойцами и перевожу тебя на новое место согласно приказа. Пиши мой телефон! Дневальному скажешь, что звонят из райкома, – меня сразу найдут.

Домой Олега вел многолетний инстинкт, наподобие того, что наблюдается у перелетных птиц, не сбивающихся со своего маршрута даже в бурю. Еще, конечно, упасть не давала трепетавшая в меркнувшем сознании мысль: заворг Краснопролетарского райкома комсомола, лежащий лицом в луже, это, как в те годы было модно выражаться, «не есть хорошо». А утром, разлепив неспавшиеся глаза и поймав тошноту на полпути от желудка к предусмотрительно поставленному возле дивана тазику, Башмаков увидел сначала свои брюки, такие грязные, точно он вчера вечером по примеру первых комсомольцев утрамбовывал ногами жидкий бетон, а потом и заплаканные, ненавидящие глаза Кати.

– Убирайся, тварь! – приказала она. – Собирай свои манатки и убирайся! – И, помолчав, с чувством повторила: – Тварь!

«Тварью» она еще никогда его не называла, и это слово буквально ножом вонзилось в беззащитное с похмелья сердце Олега. Он повернулся к стене и затих.

– Убирайся сейчас же, я не шучу! – повторила жена с той же суровостью, но на всякий случай опустив опасное слово «тварь», и вышла из комнаты.

Башмаков лежал, отвернувшись к стене, и сладкие слезы непрощаемой обиды катились по его щекам. Все годы семейной жизни проходили перед ним – и были они мучительной чередой ссор, унижений и притворств. Через полчаса вернулась жена. По сложившемуся семейному обычаю за это время Олег должен был осознать вину и приступить к вымаливанию прощения. Но напрасно Катя стояла над обиженно дышащим телом супруга. Наконец, не выдержав, она присела на краешек дивана:

– Олег, ведь так жить невозможно! Ты спиваешься. Лучше бы мы в Плесецк уехали...

А Башмаков тем временем вспомнил про то, как теща подозрительно часто критикует подаренный его родителями холодильник «Север», как тесть Петр Никифорович при каждом удобном случае попрекает зятя при помощи безобидных с виду слов: «Эх, ребята, хороша у вас квартирка – живи и радуйся!» Вспомнил он, как Катя, борясь за трезвость в семье, научила еще совсем маленькую Дашку говорить отцу по пути в детский сад: «Папа, не пей – козленочком станешь!» Вспомнил и, схватившись за сердце, заскрежетал зубами.

– Олег, в холодильнике есть пиво. Я вчера целую очередь отстояла! – уже испуганно сообщила Катя.

Башмаков поднялся и, поглядев сквозь жену, двинулся к кухне. Его пошатывало, а запущенные очи заволакивал тошнотворный мрак, наподобие того, какой бывает, если долго лежишь на пляжном солнце, а потом вдруг резко вскочишь, чтобы бежать к воде. Олег дополз до кухни, прямо из носика выпил целый чайник мертвой кипяченой воды, с трудом отдышался и набрал номер Слабинзона.

– Это я, – сообщил он полусонному Борьке. – Ты мне обещал...

– А я и не отказываюсь. Когда?

– Сегодня.

– Принято! Скажу деду, чтоб на троих обед готовил.

Катя наблюдала за всем этим с нарастающим тревожным недоумением, а Башмаков тем временем вытряс из пиджака бумажку с телефоном лейтенанта Веревкина и позвонил.

– Дневальный по роте ефрейтор Денисов слушает! – раздалось в трубке.

– Это из райкома. Ты, боец, давай лейтенанта Веревкина позови!

Несколько минут доносились лишь глухой гул и отдаленный топот сапог, потом послышался несвежий голос:

– Лейтенант Веревкин у аппарата!

– Ты жив?

– Не уверен... Наверное, на амбразуру бросаются именно в таком состоянии.

– А ты хоть помнишь, что мне вчера обещал? – с тревогой поинтересовался Башмаков.

– Ну, уж ты совсем меня... Помню, конечно! Созрел, что ли?

– Да. Приезжай!

– Когда?

– Прямо сейчас.

– Есть. Диктуй адрес!

Положив трубку, Башмаков притащил с балкона картонный куб из-под телевизора, подаренного тестем Петром Никифоровичем к трехлетию свадьбы, и принялся складывать вещи, начав с книг. Катя с тревожной иронией наблюдала, изредка вмешиваясь в процесс репликами типа: «А эту книгу, между прочим, я покупала!» или «А вот эту подписку, как ты помнишь, нам папа подарил!»

Олег молча откладывал спорное имущество в сторону, даже не пытаясь возражать, несмотря на то, что некоторые книги они приобретали вместе. Когда дошла очередь до потрепанной «Новой книги о супружестве», сыгравшей в их жизни такую судьбинную роль, Башмаков безмолвно бросил ее жене.

– А вот и хорошо, – истомно сказала Катя. – Она еще мне пригодится!

Закончив с книгами, Олег стал собирать бумаги – в основном разную райкомовскую канитель: справки, отчеты, методички... Потом он достал из серванта большую коробку из-под сливочного печенья, где уже тогда хранились документы, нашел военный билет, свидетельство о рождении, аттестат зрелости, диплом...

Катя следила за действиями мужа с нарастающим ужасом, потом вдруг сорвалась с места, и через минуту Олег услышал, как щелкнула на кухне дверца холодильника, а затем – как затрещал телефон: жена набирала номер на параллельном аппарате. Когда Башмаков складывал свои бумаги в полиэтиленовый пакет, Катя вернулась.

– Олег, ты извини меня, пожалуйста... – начала она каким-то не своим голосом, немного напоминающим голос Людмилы Константиновны, однако не выдержала и закончила уже по-своему: – Но ты, знаешь, тоже не прав! Что ты молчишь? Между прочим, твоя мать просила передать, чтобы ты не валял дурака!

Башмаков тихо улыбнулся, услышав подтверждение своей догадке.

– Что ты ухмыляешься? Отвечай!

Но Олег не отвечал. Он нашел на антресолях разрисованный дембельский чемодан, обтер пыль и с ритуальной методичностью начал собирать и складывать одежду. При этом Башмаков невольно отметил про себя, что, когда они с Катей поженились, у него, кроме свадебной тройки, школьного костюма, польских джинсов и утлого пальтишка на поролоне, ничего не было, а теперь вот даже в дембельский чемодан добро не помещается.

– Значит, уходишь? – сквозь слезы спросила Катя. – А говорил, не бросишь!

Башмаков, сам чуть не плача, молча кивнул и полез за спортивной сумкой в диван. Роясь в пыльной диванной пасти, он думал о том, что можно, к примеру, написать фантастический рассказ с очень неожиданным сюжетом: под крышкой обычного дивана скрывается вход в параллельный мир, человек лезет за старыми штанами и попадает в страну, где люди размножаются весьма необычным способом. В результате совокупления рожают не только женщины, но и мужчины. Но мужчины рожают только мальчиков, а женщины – только девочек. Поэтому после развода алименты платить не нужно. Вообще с похмелья Башмакову иногда залетали в голову очень интересные сюжеты.

– Это моя сумка! – начала Катя противным голосом и вдруг заговорила совсем по-другому: – Ну, Тунядыч! Ну подурачились, и хватит...

Кстати, у них как-то само собой установилось: если Катя была благорасположена, то называла его Тапочкиным. Обращение «Тунядыч» означало пусть маленькое, но неудовольствие. Так осталось и по сей день. (Интересно, как бы она назвала его, если бы внезапно вернулась и застала за сборами? Уж конечно бы не так, как семнадцать лет назад. Той, прежней Кати нет и больше не будет...)

– Ну, Тапочкин, ну давай же мириться! – Она попыталась обнять его за шею, но Башмаков молча, резким движением сбросил ее руки.

Оставшиеся вещи он просто стянул ремнем. И тогда Катя снова побежала звонить – теперь уже своей матери. Зинаида Ивановна терпеть не могла ее жалоб, всегда принимала сторону Башмакова и, в отличие от Людмилы Константиновны, считала, что мужа лучше переласкать, чем недоласкать. А в случае очевидного зятева свинства она только вздыхала и говорила: «Перемелется – мука будет». Поэтому Катя обычно жаловалась отцу. Тот во всем поддерживал дочь и мог бы остановить это безобразие одной решающей цитатой из Моруа, но он, как назло, уехал подлечиться в Цхалтубо.

Олег устало обошел еще раз квартиру, снял со стены фотографию хохочущей Дашки, нашел завалившийся за диван кистевой эспандер, потом заглянул в ванную, достал из бака две грязные сорочки и гроздь убедительно несвежих носков. Тут его снова настигла Катя. Она стала вырывать у него из рук рубашки, никому не желая уступать свое святое право стирать мужнино грязное белье.

– Олег... Я прошу... Прости меня! – твердила она вся в слезах, и голос ее явственно напоминал теперь голос Зинаиды Ивановны. – Я больше никогда! Никогда... Ну, Та-а-апочкин!

Вырвав наконец у мужа одну сорочку, Катя уткнулась в нее лицом и зарыдала. А Олег все так же молча зашел на кухню и обнаружил, что хлебница, где они хранили деньги, лотерейные билеты и разные другие ценности, открыта. Вяло поразмыслив, он полез в холодильник и под кастрюлькой с Дашкиным супчиком нашел спрятанный Катей партбилет. Это была ее последняя надежда на примирение (куда же денется муж без партбилета!), и, поняв, что теперь его уже ничто не удержит, Катя опрометью бросилась к двери.

– Не-е пуцу-у-у! – истошно крикнула она, раскинув руки в проеме, точно распятая.

И тут раздался звонок в дверь. На Катином лице изобразилось торжество последнего бойца, дождавшегося-таки подмоги. Она, радостно отирая слезы и не справляясь с замком, принялась отпирать дверь, рассчитывая увидеть на пороге долгожданную мать. Ей даже в голову не пришло, что Зинаида Ивановна не может так быстро примчаться через пол-Москвы на выручку.

На пороге стояли желчный лейтенант Веревкин, а за ним четыре бойца в бушлатах и прапорщик в кургузой шинельке и огромной фуражке.

– Здравия желаю! – Веревкин коротко приложил руку к козырьку. – Здесь проживает товарищ Башмаков Олег Трудович?

– Олега Трудовича здесь нет! – залепетала Катя.

– Здесь я! – обозначился Олег. И это были его первые слова за все утро.

– Понял. Показывай, что выносить! А ты, Иван Григорьевич, – Веревкин отнесся к прапорщику, – проследи, чтоб бойцы ничего не поцарапали!

– Есть! За-а мной! – козырнул прапорщик и, отстранив плечом остолбеневшую Катю, зашел в квартиру.

Первым делом стали выносить диван и тут же застряли в дверном проеме.

– Отставить! – приказал Иван Григорьевич. – Ну-ка, Малышкин, дуй в машину и принеси инструмент. Шире шаг!

Возможно, именно заминка с диваном и спасла семью Башмаковых от распада тогда, семнадцать лет назад. По правде сказать, Олег не был готов к этому распаду. Собирая вещи, он до конца так и не верил в окончательность разрыва и даже заранее начинал уже скучать по Кате и Дашке. Но одновременно в нем сладостно набухала мечта о новой, свободной и полной прекрасных мужских впечатлений жизни. Так бывает, когда едешь на рыбалку и заранее представляешь себе чутко подрагивающий от поклевки поплавков, туго натянутую леску и здорового скользкого карася, изгибающегося в руках. Правда, на рыбалках, куда его, мальчишку, часто брал Труд Валентинович, Олегу редко везло. Отец даже иногда перенизывал на кукан сына свои рыбины, чтобы парню было не так обидно.

Но кто знает, как бы захоронили они со Слабинзоном? Зацепила бы его снова какая-нибудь «кандидатка в мастера» с лучисто-шалльными глазами... А самолюбивая Катя, помня все свои унижения, уже не простила бы его. Тесть к месту процитировал бы: «Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь...» И все! И навсегда! И стал бы Олег классическим приходящим папой и сталкивался бы иногда в прихожей с новым Катиним мужем, не успевшим смыться к законному башмаковскому визиту. И смотрел бы Олег на свою родную квартиру, мучительно прикидывая, как у них здесь это все происходит. Но так бы до конца и не верил, что это все может у Кати происходить еще с кем-то, кроме него, Башмакова...

А вот интересно бы узнать: женщина в объятиях нового мужчины вспоминает своих прежних любовников? Может, крича от счастья, она думает о совершенно другом человеке? Или, может быть, каждый последующий возлюбленный – это как бы сменный наконецник некой неизменной Вечной Мужественности? Или же, напротив, каждая новая любовь – это своего рода инкарнация, когда от прежних жизней и постелей остается лишь смутное узнавание, вроде дежа вю?

Боже мой, что только не сквозит в похмельном мозгу задумчивого человека!

Нет, конечно, у Слабинзона Башмаков бы долго жить не стал, перебрался бы туда, где прописан, – к родителям, в недавно полученную двухкомнатную «распашонку». Труд Валентинович много лет стоял на очереди, а 3-я Образцовая типография как раз достраивала новый дом. Однако когда в профкоме вывесили списки, его фамилии там не оказалось. Это был страшный удар, так как уже вся коммуналка знала, что Башмаковы переезжают в отдельные хоромы. И тогда Людмила Константиновна, никогда ни о чем не просившая своего шефа, превозмогла гордость, сама внесла себя в список посетителей по личным вопросам – и попросила. Шеф выбранился (он был багроволицым громилой и страшным матерщинником), нашел в специальной книжечке телефон типографской «вертушки», позвонил отцовскому начальству, обменялся несколькими приветственными ругательствами, поинтересовался результатами охоты на кабана, в которой сам по болезни – давление подскочило – не смог поучаствовать, а в конце разговора, как бы между прочим, попросил «порешать вопрос верстальщика Башмакова». Через месяц родители въехали в новую квартиру, где еще пахло краской и не закрывалась толком ни одна дверь.

Олег, тогда только пришедший в райком, был поражен тем, как можно, оказывается, человеческую судьбу решить пустячным телефонным звонком. Позже он нагляделся этого вдоволь. Труд Валентинович с тех пор любил порассуждать о том, что типографские рабочие приравниваются к бойцам идеологического фронта – и потому их жилищные проблемы решаются в первую очередь. Людмила Константиновна на это только усмехалась, но семейной тайны не выдавала. А шеф ее умер от обширного инфаркта в 90-м году, когда руководимый им главк впервые за много лет не вышел на уровень планового задания.

Пока боец Малышкин бегал за инструментами, Катя, словно очнувшись, подошла к мужу, взяла его за руку, отвела в детскую и закрыла дверь. Потом она встала на колени и сказала:

– Прости! Я сама тварь! Я больше никогда... Никогда!

Это слово «тварь», повторенное во второй раз, и стало тем ключом, при помощи которого, как сейчас модно говорить, был раскодирован, а точнее – расколдован Башмаков. Он словно очнулся и обнаружил перед собой вместо смердящей бородавчатой ведьмы ласковую, нежно заплаканную панночку. И ему стало стыдно.

– От меня не очень перегаром несет? – спросил он.

– Нет, и совсем даже нет! – горячо запротестовала Катя.

Тогда он поднял жену с колен, обнял и поцеловал ее в губы, и если б не бойцы, громыхавшие в прихожей, то поцелуй перешел бы в бурное взаимопрошение прямо посреди разбросанных Дашкиных игрушек. Оторвавшись от Кати, Олег вышел в прихожую и смущенно приблизился к лейтенанту, критически наблюдавшему, как Иван Григорьевич с бойцами споро развинчивают диван.

– А долго его назад скручивать? – робко полюбопытствовал Башмаков.

– Раскручивать всегда легче! – философски заметил прапорщик.

– А в чем, собственно, дело? – как бы уже заранее обижаясь, спросил Веревкин.

– Понимаешь, она у меня прощения попросила...

– Передумал, что ли?

– Понимаешь, она плачет и клянется!

– Ну смотри, – пожал плечами Веревкин, – когда прижмешь, они всегда такие, а потом...

– Да брось ты, лейтенант! Я-то уж думал, действительно кракодав какой тут обитает, а она вполне даже терпимая женщина! – возразил прапорщик.

– Как хочешь, – поморщился Веревкин. – Отбой, что ли?

– Отбой! – облегченно выдохнул Башмаков.

– А дети-то у тебя есть? – откладывая отвертку, спросил чуткий Иван Григорьевич.

– Дочь!

– А чего ж ты, в самом деле, тогда дурочку валяешь? – покачал головой прапорщик и скомандовал бойцам: – Отставить! Давайте назад скручивайте! А такое дело, как восстановление семейной цельности, надо, конечно, отметить!

– У меня пиво есть! – улыбаясь сквозь слезы, сообщила Катя, тихонько пришедшая из детской и слышавшая, оказывается, весь разговор.

– Ну, пивом тут, голуба, не отделаешься! – засмеялся Иван Григорьевич и кивнул на чемодан. – Разбирай вещички – вернулся твой дембелек! Но ты, голуба, на досуге тоже мозгами пошевели...

Когда через час теща, открыв своим ключом дверь, вместе с Дашкой вошла в квартиру, то застала очень странную картину: во главе празднично накрытого и еще более празднично бутылированного стола, точно молодожены, сидели Олег и Катя. Слева от них – четыре трезвых бойца (перед каждым стояла бутылка лимонада «Буратино»), а справа – засмурневший лейтенант Веревкин, захорошевший Иван Григорьевич и пьяный в стельку Слабинзон. Борька позвонил, чтобы выяснить, почему Башмаков к нему все никак не доедет, и был срочно вызван на внезапно образовавшийся праздник жизни. Супруги Башмаковы были как раз слиты в прочном поцелуе, а гости хором считали:

– Тридцать восемь, тридцать девять, сорок...

Катя вырвалась от Олега, чтобы отдышаться, а гости захлопали в ладоши.

– Мама, у вас снова свадьба? – удивленно спросила Дашка.

– Вот ведь ребенок всегда в корень смотрит! – обрадовался Иван Григорьевич.

Он галантно предложил теще место рядом с собой и весь вечер охмурял ее с тонкими подходцами, совершенно неожиданными в этом прямом казарменном человеке. А в конце, так и не добившись от раскрасневшейся тещи брудершафта с неминуемым поцелуем, прапорщик сказал тост, запомнившийся Олегу навсегда:

– За любовь без дури!

Примерно через год Ивана Григорьевича, давно уже просившегося в Германию, чтобы подзаработать перед пенсией, уважили и откомандировали в Афганистан – тоже как-никак за граница. Веревкин, так и не простивший Башмакову того «отбоя», зайдя как-то в райком с ведомостью, рассказал, что прапор прислал из Афгана два письма, а потом его и самого прислали в цинковом гробу. Их колонну зажали в каком-то горном ущелье, и они отстреливались, пока были живы. Прилетевшие на выручку вертолеты опоздали, Иван Григорьевич был мертв и до невероятности изуродован, как, впрочем, и все остальные...

6

«А куда же потом делся дембельский чемодан?» – задумался эскейпер и вспомнил.

Сразу после неудавшегося первого побега Катя засунула чемодан подальше от глаз на антресоли. Потом какое-то время в нем держали старую обувь. В конце концов Дашка, получив в подарок черепаху Чучу, устроила в чемодане террариум. После преждевременной смерти Чучи от желудочно-кишечного расстройства чемодан источал такой нестерпимый запах, что Башмаков собственноручно отнес его на помойку.

А жаль! Замечательный был чемодан... На крышке – мчащийся поезд с огненной надписью «Дембель-1974». Состав мчался туда, где вдаль виднелась платформа, а на ней – тоненькая девичья фигурка с букетом цветов. К этой картине самодеятельный батарейный художник по фамилии Дарьялов предлагал сделать подпись:

*Я, пока тебя ждала,
Всему городу дала!*

Дарьялов был из молодых, недавно призванных, и не ведал, что попал в самое больное место. За это он жестоко поплатился, получив от обезумевшего Башмакова несколько страшных ударов в грудь. На казарменном языке это называлось «проверить фанеру». Парня даже в санчасть положили, но он наврал начмеду, будто упал с турника. Однако получил Дарьялов все-таки за дело. Нельзя так шутить! Нельзя.

Уходя в армию, Олег оставил в Москве Оксану, свою первую любовь. Познакомились они на пруду в Измайлове, где после выпускных школьных экзаменов Олег проводил почти все свое время – плавал, загорал и готовился к поступлению в институт. Вокруг пруда даже по будням собиралось довольно много отдыхающих: целовались, прикрывшись полотенцами, парочки, шумные компании, раскинувшись на травке, употребляли портвейн и пиво в неограниченных количествах. Олег же в гордом одиночестве лежал на своем месте, под кустиком, читал учебники и даже записывал кое-что в тетрадку. Изредка он вскакивал, мчался к пруду и с разбегу, единым духом, не появляясь на поверхности, пронзал холодную мутную воду от берега до берега. Выныривал Башмаков уже на другой стороне и всегда безошибочно под равесистыми корнями старой подмытой березы. Потом, отдышавшись, проделывал то же самое, но теперь в обратном направлении. Выйдя на берег, Олег, как подкошенный, падал лицом в землю, успевая в последнее мгновение подставить руки, и отжимался раз двадцать для согрева. Неторопливо направляясь к своим учебникам, он краем глаза ловил, какое впечатление произвело его показательное выступление на окружающих, особенно на девушек.

И вот однажды, когда, в очередной раз проделав свой коронный номер, Башмаков улегся под кустиком и углубился в физику, над ним раздался веселый голос:

– Ихтиандр, вы курящий?

Он поднял глаза и увидел загорелый девичий стан в белом влажном и потому почти прозрачном купальнике. Задрав голову, Олег обнаружил, что лицо у окликнувшей его девушки круглое, улыбочное, волосы светлые, вернее, обесцвеченные, а глаза – лучисто-шалые.

– Во попался – некурящий, неговорящий!

– Нет, я немного курю... – неловко признался Башмаков.

– «Стюардессу» будешь? – Она протянула ему пачку сигарет.

Олег замешкался. Он вытирал о траву (чтобы взять сигарету) мокрые после купания пальцы и безуспешно оттаскивал взгляд от жгучих сокровенностей, просвечивающих сквозь влажный купальник.

– У тебя что – «Опал»? – Незнакомка громко, по-уличному засмеялась.

– У меня? Н-нет... – пробормотал он растерянно и только тогда сообразил, что веселая девица имела в виду популярный в ту пору анекдот про пилота, штурмана и стюардессу.

– Тебя как звать, нырок?

– Олег.

– А меня Оксана. Голова-то от книжек не заболела?

И она уселась прямо на конспекты, моментально расплывшиеся акварельной синевой. Они покурили (Башмаков только делал вид, будто курит), поболтали о погоде и о том, что в пруду скоро нельзя будет купаться изза брошенных в него пустых бутылок. К Оксане несколько раз подходили какие-то парни, довольно развязные, и звали назад в компанию, но девушка только отмахивалась:

– Да ну вас, ханурики, надоели!

А когда солнце скрылось за огромными измайловскими березами и пруд стал цвета кофейного напитка «Артек», Оксана пригласила Олега в кино и даже купила ему билет, потому что у Башмакова было с собой всего десять копеек на обратную дорогу: родители его никогда не баловали.

Едва в зале погас свет и на экран, как черно-белый колобок, выкатился земной шар, увитый лентой с надписью «Новости дня», Оксана тяжело вздохнула. Наверное, из-за того, что сеанс начался со скучной кинохроники, а не с веселого «Фитиля». Обычно в таких случаях вздох огорчения вырывался у всего зала. Потом, когда начался фильм, новая знакомая еще раз вздохнула, на этот раз призывно, и как бы случайно положила руку на башмаковское колено. Олег боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть эту счастливую нечаянность, – и тогда Оксана наклонилась и довольно громко шепнула ему в ухо:

– Ну что ты сидишь, мертвый? Поцелуй меня!

Олег, никогда прежде не целовавшийся, тут же выполнил эту просьбу с развязной решительностью многоопытного лобызателя. От поцелуя осталось странное послевкусие – смесь сигаретной горечи и сладости мятных леденцов.

– Ой, да ты совсем не умеешь! – захихикала Оксана.

– Ну почему же! Просто здесь темно и люди...

– Ладно, не бойся, я тебя научу. Но о другом даже не мечтай! Понял?

– Понял, – грустно кивнул в темноте Олег, хотя еще полчаса назад он не мечтал даже о поцелуе.

С этого дня Башмаков уже почти не открывал учебников (что привело к позорному провалу на первом же экзамене), а если и открывал, то книжная мудрость проплывала мимо, как серый сигаретный дым, в котором угадывались лучисто-шалльные Оксанины глаза. Натомившись и натосковавшись за целый день ожидания до ломоты в теле, Башмаков мчался на Красную Пресню, покупал эскимо и ждал возле проходной «Трехгорки». В нескончаемом потоке ткачих он выискивал глазами Оксану и когда наконец находил, то испытывал совершенно несказанное чувство. Ближе всего, но тем не менее плоско и приблизительно это чувство обозначается замызганным словом «счастье».

– Мороженое купил? – спрашивала Оксана.

Он молча вынимал из-за спины эскимо.

– Устала как собака, – доверительно сообщала она и слизывала сразу полмороженого. – Куда пойдём?

– Может, в Сокольники? – предлагал Башмаков, сладко мертвея от предчувствия долгих поцелуев в пустых аллеях.

– Нет, сначала надо где-нибудь глаза пронести!

«Пронести глаза» означало пошляться по магазинам – ГУМу, ЦУМу или калининским стекляшкам, поглазеть на товары, которых тогда, кстати, было еще довольно много, прицениться и, конечно, ничего не купить. Башмакову родители выдавали на все про все полтинник

в день, а Оксана ползарплаты отправляла матери и младшим братьям в Тулу или сама ехала туда с сумками, набитыми мясом, колбасой, фруктами и сладостями. Оксанин отец пять лет назад завербовался на Север – подзаработать, и его буквально через месяц зарезал в драке расконвоированный зек.

– Ты смотри, цигейковая шуба, – говорила она, щупая мех, – полторы тыщи стоит! И ведь кто-то же покупает!

Потом они ехали в Сокольники, или шли в кино, или блуждали по Москве, забредали в глухие подъезды и, прислушиваясь к дверным хлопкам, целовались. Башмаков быстро освоился с новым делом и даже достиг под руководством Оксаны известной изощренности, что впоследствии отмечали и Катя, и Нина Андреевна, и Вета. Иногда она позволяла ему поцеловать свои остренькие, точно звериные мордочки, грудки, а порой – очень редко – допускала даже к влажной и горячей девичьей тайне. При этом она дышала шумно и обреченно, но вдруг перехватывала его руку.

– Ага, разбежался! Хорошенького понемножку, а то мужу ничего не останется!

– А ты выходи за меня! – шутил Башмаков срывающимся голосом.

– Ты еще маленький, – смеялась она и словно невзначай задевала рукой башмаковские брюки как раз в том самом месте, где теснилась его невостробованная готовность.

Потом он провожал ее до общежития, дожидался, пока злая спросонья дежурная отопрет дверь и впустит припозднившуюся жиличку со словами:

– Ох, лимита проклятушая, когда ж вы нагуляетесь?!

– Ладно, дурында старая, как будто сама молодой не была! – весело огрызалась Оксана и, на прощание лизнув Олега в щеку, исчезала.

А он ехал чуть не с последним поездом метро к себе в Малый Комсомольский переулок – и тихонько отпирал дверь, потому что вся коммуналка, включая его родителей, давно уже спала, готовясь к новому трудовому дню. Разве только Дмитрий Сергеевич, директор вагон-ресторана, живший один в двух комнатах, сидел на кухне с деревянными счетами и кипой накладных.

– Сколько? – обычно спрашивал он, имея в виду количественный показатель свидания.

– Не считал! – значительно отвечивал Олег.

– Да ты что?

– Честно!

– Слушай, давай я тебя с одной моей официанткой познакомлю – ее вся Казанская железная дорога удовлетворить не может!

Но однажды родители все-таки дождались его возвращения. Мать нервно вязала, стуча спицами, а отец играл желваками, как Шукшин в «Калине красной», и курил папиросу в комнате, хотя обычно выходил для этого на лестничную клетку.

– Ну и как ее зовут? – спросила Людмила Константиновна.

– Оксана. Мы, наверное, поженимся, когда мне восемнадцать исполнится...

– Не рановато? – усмехнулась мать.

– Женилка выросла? – сурово поинтересовался Труд Валентинович. – Когда тебе восемнадцать исполнится, ты не в загс, а в армию у меня пойдешь, засранец, Родину защищать! Может, поумнеешь за два года. Хватит того, что ты из-за нее в институт провалился!

– Это не из-за нее...

– А из-за кого – из-за него? – Отец настойчиво углублял тему топографического низа.

– Где она работает? – продолжила мать перекрестный допрос.

– На «Трехгорке».

– Москвичка?

– Не совсем.

– Ясно – лимитчица, – определил Труд Валентинович.

– Ты больше с ней встречаться не будешь! – объявила мать таким тоном, каким обычно сообщала посетителям, что высокое начальство не примет их ни сегодня, ни в обозримом будущем.

– Буду! – огрызнулся Олег.

– Что-о-о? – взревел Труд Валентинович, расстегивая ремень. – Мы из него человека с высшим образованием хотели сделать, а он из-за какой-то давалки... Эх ты, бабашка!

– Она не давалка!

– Тем более!

Порки не получилось по причине буйного несогласия воспитуемого с такой непедагогической мерой воздействия. На грохот упавшей этажерки и крики Людмилы Константиновны сбежался Дмитрий Сергеевич. Он и оттащил разъяренного, побагровевшего Труда Валентиновича от Олега.

– Убирайся отсюда! – орал отец, вырываясь.

– Это и мой дом! – всхлипывал Башмаков, потирая помятую шею.

– Твои одни только сопли!

Олег хлопнул дверью так, что домик, выстроенный давным-давно, содрогнулся вековой штукатуркой. Ночевал он на Ярославском вокзале, где до рассвета рассказывал свою печальную историю какому-то командированному, который тоже грустно поведал про утраченный чемодан с совершенно новой пижамой:

– И ведь глаз с него не сводил... Только задумался на минуточку!

На следующий день Башмаков – без эскимо – встретил Оксану возле проходной и объяснил, что подрался с отцом и ушел из дому.

– Из-за меня? – восхитилась она.

– Из-за института.

– Значит, из-за меня. Горе ты мое! Ну, поехали в общагу – Нюрка как раз в деревню за салом отвалила.

Оксана отвлекла дежурную легким скандальцем, и Олег проскользнул мимо поста. Стены комнатки были заклеены портретами Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Анны Герман, вырезанными из журналов. На веревке, натянутой наискосок, сушились женские мелочи. На столе лежала записка:

«Харчо я доела, а котлеты остались тебе. Н.».

Олег насчитал две орфографические и одну синтаксическую ошибки.

В ту ночь Оксана была готова, казалось, на все, но Башмаков проявил удивившую ее сдержанность и лег спать на Нюркину кровать.

– Ты чего? – удивилась она.

– Мужу твоему ничего не останется.

– А ты передумал жениться, что ли?

– Нет, не передумал.

Большой знаток жизни, сосед Дмитрий Сергеевич как-то сообщил Олегу, будто «нераспечатанные» подружки, которым девственность служит чем-то вроде пояса верности, обычно дожидаются парней из армии, а, соответственно, «распечатанные» пускаются во все тяжкие.

– У меня вот одна официантка, целехонькая, парня три года с флота ждала. Никого к себе не подпустила.

Когда Олег через два дня вернулся домой, испуганные родители мудро и дальновидно сняли свои требования и настояли лишь на том, что все разговоры о женитьбе откладываются до возвращения из армии. Сейчас смешно даже вспоминать, но в ту пору он совершенно серьезно воображал, как придет из армии, возможно, даже с орденом, как они поженятся, вместе поступят в институт, и он приучит свою молодую жену читать книжки.

Отец устроил Олега к себе в типографию курьером. Зарплата была маленькая, а носиться на своих двоих по всей Москве приходилось с утра до вечера. Зато пошел трудовой стаж, да и на любовное томление, как рассудили мудрые родители, сил поменьше оставалось. В апреле Олег с разрешения матери пригласил Оксану на свой день рождения, фактически совпавший с проводами в армию. Народу собралось много: несколько школьных друзей, взиравших на Оксану с определенным недоумением, соседи по коммуналке. Приехала из Егорьевска бабушка Евдокия Сидоровна, отца мать. Людмила Константиновна была внешне дружелюбна, даже беседовала с Оксаной о состоянии текстильной промышленности, но лицо ее при этом выражало следующее: «Если случится невозможное и эта лимитчица станет моей невесткой, я приму цианистый калий – и никакой помощи от меня не ждите!»

А бабушке Дуне, напротив, Оксана понравилась, и она радостно делилась с соседями: – Справная деваха. Телистая. Повезло Олежке!

Дмитрий Сергеевич опоздал, но принес из вагона-ресторана кастрюлю затвердевших эскалопов и разглядывал Оксану с настойчивым интересом. А выпив, даже стал зазывать ее к себе на работу, живописуя железнодорожную романтику и красоты Транссибирской магистрали. Отец был в веселом расположении духа, соорудил из старой наволочки макет армейской портянки и учил сына наворачивать ее на ногу. Они окончательно помирились, и Труд Валентинович под большим секретом, выведя сына на лестничную клетку, рассказал, что в 52-м, до женитьбы, у него тоже была ткачиха, раскосая татарочка – Флюра:

– Девка непродолбенная!

Потом Олег поехал провожать свою основательно захмелевшую возлюбленную. Они всю дорогу буйно целовались под неодобрительными взглядами прохожих, а когда добрались до общежития, Оксана сунула дежурной трешку и буквально силой затащила Олега к себе. Сонную Нюрку, в ужасе закрывающую руками зеленые бигуди, она буквально вытолкнула из комнаты. Едва заперев дверь, Оксана прямо-таки набросилась на смятенного призывника.

– Зачем?! – отбивался он.

– Чтоб ты меня не забыл, дурында ты правильная! – Она стала торопливо расстегивать башмаковские брюки, горячо дыша ему в лицо выпивкой и закуской.

И он решился... Но, увы, – его неопытное вожделение тут же бурно скончалось.

– Недолет! – ласково и в то же время обидно рассмеялась в темноте она. – Ладно. Поезжай домой! А то Нюрка обозлится. И мамаша твоя глаза мне повыковырит!

– Ты меня будешь ждать?

– Уже жду. Ты разве не видишь?

Мучительные воспоминания об этом «недолете» еще долго, до самой встречи с Катей, осложняли Башмакову личную жизнь. Родители дождались своего часа и, специально разведав, подробно, с деланным сочувствием написали Олегу про то, чем занимается его первая любовь, куда он выполняет ратный долг. Рядовой Башмаков сначала не поверил, но писем от Оксаны в самом деле не было – ни одного. И с ним началось такое, что месяц его даже не пускали в караул, боясь оставить наедине с АКМом. Замполит, присмотревшись, вызвал Олега в Ленкомнату и первым делом приказал:

– Фотку покажи!

Олег, серый от переживаний, вынул вложенный в военный билет снимок и протянул капитану.

– Кандидатка в мастера спорта, – мрачно молвил замполит, чья жена, по слухам, наотрез отказалась ехать с ним сюда, на Сахалин.

– Какого спорта? – оторопел рядовой Башмаков.

– Какого? Троеборье в койке. Забудь о ней! – приказал замполит.

И Олег не сразу, но забыл. Во всяком случае, ему так казалось. Напомнил рядовой Дарьялов, за что и получил по фанере, да так, что Башмаков уже увольнялся, а разговорчивый сала-

бон все еще покашливал, хватаясь за грудь. Со временем Дарьялов стал модным художником, а прославился он во второй половине 80-х картиной «Неуставняк». Полотно изображало кровожадных волчар, одетых в дембельские кители и рвущих на куски нагого, беззащитного салажонка. Ветин отец, оказывается, даже купил несколько картин Дарьялова. Недавно Башмаков и Вета навестили его выставку в Манеже и даже подошли, чтобы пожать художнику руку. Дарьялов, чахоточно покашливая, поблагодарил за лестные отзывы, но однополчанина, конечно, не узнал. А сам Олег Трудович не решился напомнить живописцу о своей роли в становлении его недюжинного таланта...

Когда Башмаков, одетый в новенькую парадку с гвардейским значком, напоминавшим орден Боевого Красного Знамени, ехал домой на поезде через все безразмерное Отечество, он клялся и божился, что даже не спросит про Оксану. И уже на второй день примчался в общежитие. На стенах висели все те же Муслим Магомаев, Евгений Мартынов и Анна Герман. На Нюрке были все те же зеленые бигуди. Оксана, оказывается, давно уже уволилась с «Трехгорки» и снимала однокомнатную квартиру. Адрес Нюрка с готовностью написала на бумажке, сделав при этом невероятное количество ошибок.

– Но лучше туда не едь!

– Почему?

– Да так. А если что, заходи – чайку попьем...

Но Башмаков в тот же день отправился в Коломенское, нашел означенную в бумажке «хрущевку» и долго маялся, не решаясь подняться на этаж и позвонить. Когда же он наконец решился, к подъезду подкатил новехонький «жигуль», из него выпихнулся толстый лысый грузин (тогда всех кавказцев почему-то считали грузинами) и громко, с шашлычным акцентом, крикнул:

– Оксана, мы приехал!

Не дождавшись ответа, он кивнул оставшемуся за рулем такому же лысому толстому земляку – и тот длинно засигналил. Через несколько минут из подъезда выскочила густо накрашенная Оксана. На ней были красная лаковая куртка и черные блестящие, безумно модные тогда сапоги-чулки.

– Нугза-арчик!! И Датка с тобой? Дурындики вы мои носатенькие! – крикнула она и бросилась на шею грузину.

– Чэво хочешь? Говоры!

– Шампусика!

– Эх, мылая ты моя! Дато, в «Арагви»!

Они уехали. А Башмаков заплакал и побрел к метро. С Оксаной судьба его сводила еще дважды. Как-то раз Олег участвовал в спецрейде и сидел с милиционерами в дежурке гостиницы «Витебск», когда привели партию только что отловленных «ночных бабочек». Оксану он узнал сразу, хотя на ней был невероятный парик и серебристое платье в обтяжку с большим черным бантом на значительном заду, напоминавшем два притиснутых друг к другу футбольных мяча. Она тоже сразу узнала Башмакова и глянула на него своими лучисто-шалльными глазами, в которых были смущение, дерзость и просьба о помощи. Но Олег сделал вид, будто они не знакомы, и, глядя под ноги, вышел из дежурки.

А второй раз... Да ну ее к черту, Оксану эту! Из-за нее, из-за того дурацкого «недолета», он потом еще долго боялся подходить к женщинам.

А армейский дружок присылал письмо за письмом и в подробностях рассказывал, как терроризирует женское население Астрахани своей накопленной за два года в казарме мужской могучестью...

Однажды Олег не выдержал и отправился в общежитие к Нюрке.

– А я-то думала, Оксанка врушничала про тебя! – вздохнула разочарованная ткачиха после того, как самые страшные опасения Башмакова подтвердились. – Жалко... Парень ты симпатичный, а главного нет...

– А что главное? – жалобно спросил Башмаков, точно не понимая, о чем речь.

– Главное – долготой. Только сейчас таких мужиков мало. Но ты не расстраивайся, тебя жена все равно любить будет... Давай лучше чай пить!

Ни об Оксане, ни о своих трагических, а теперь кажущихся смешными «недолетных» страданиях Башмаков не рассказывал Кате никогда за все годы совместной жизни. А ведь если бы не эти страдания, он, наверное, никогда не поступил бы в МВТУ, а следовательно, не познакомился бы со своей будущей женой. Решив, что плотские радости не для него, что теперь до конца жизни ходить ему в «недолетчиках» и никогда не обрести главное мужское достоинство, Олег смирился (смиряются же люди, потеряв на всю жизнь руку или ногу!) и засел за учебники. В институт Башмаков поступил легко, тем более что «дембелей» принимали вне конкурса.

На первом же письменном экзамене за одним столом с ним оказался щуплый черноглазый парень с резкими, словно птичьими движениями.

– Как в монастырь поступаем! – вздохнул черноглазый, оторвавшись от проштампованного листа. – Телок вообще нет!

Башмаков огляделся: и в самом деле – огромная аудитория была заполнена склоненными стриженными мальчишечьими головами.

– Как в клубе.

– В каком клубе?

– В полковом...

– Тебя как зовут?

– Олег.

– А меня Борис Лобензон. Ну чего смотришь? Еврея никогда не видел?

Все остальные экзамены они сдавали вместе. Борька осваивался на местности моментально. Откуда-то он мгновенно выяснял, какому именно преподавателю можно отвечать по билету, а какому нельзя ни в коем случае. После консультации по русскому языку он поманил Башмакова за собой:

– Пойдем, кое-что покажу!

Они долго шли по коридорам огромного института, наконец очутились на лестничной площадке перед дверями кафедры физкультуры.

– Историческое место! – Слабинзон похлопал ладонью по перилам.

– В каком смысле?

– Отсюда упал и разбился насмерть олимпийский чемпион по боксу Попенченко!

– Откуда ты знаешь?

– От верблюда. Кто владеет информацией – владеет миром!

Но, видимо, Борька владел еще не всей информацией, потому что перед каждым экзаменом жалобно вздыхал, уверяя, будто его обязательно завалят по «пятому пункту», несмотря на серебряную медаль. Олег успокаивал своего нового друга и доказывал, что если бы его на самом деле хотели завалить по «пятому пункту», то начали, очевидно, с того, что не дали бы серебряной медали.

– Наивняк! Я же должен был золотую получить, – грустно усмехался Борька.

Это опасение Слабинзона не подтвердилось: в институт его приняли. В те годы в Бауманское евреев, учитывая их «охоту к перемене мест», почти не брали. Но для Борьки, благодаря связям деда-генерала, сделали исключение. Зато подтвердилось другое опасение Слабинзона: девушек, в особенности симпатичных, в институте оказалось катастрофически мало. К тому же «бауманки» просто удручали своим неженственным интеллектом – страшно подойти! Впрочем, на девушек и сил-то первое время не оставалось. После бесконечных контрольных,

зачетов, чертежей сил вообще уже ни на что не оставалось. МВТУ, кстати, так и расшифровывали: «Мы Вас Тут Угробим!» Сопромат сдавали на втором курсе, а до этого, как советовали опытные люди, об «амурах-тужурах» и думать не могли.

Башмакова это даже устраивало – больше всего на свете он боялся снова опозориться, оказавшись «недолетчиком». Однажды весной Борька познакомился в метро по пути в институт с тридцатилетней женщиной. За десять минут совместной поездки успел, умелец, выщипать телефон и выяснить ее семейное положение.

– А как она, ничего? – томясь, спросил Башмаков.

– Ничего. Но не в моем вкусе.

– Зачем же ты тогда знакомился?

– Для тренировки!

– В каком смысле?

– В прямом. Мужчина должен быть всегда в боевой форме. Представь себе, ты едешь в метро, и вдруг в вагон входит девушка твоей мечты, единственная, неповторимая, с голубыми глазами! А ты даже не умеешь к ней подойти... Поэтому нужно тренироваться каждый день. Понял?

– Понял. А с этой что будешь делать?

– Тебе отдам. Позвонишь и скажешь, что от Бориса.

– Нет, я...

– Не трусь, Тапочкин! Разведенка – мечта начинающего сексуала! Краткий курс молодого бойца. Или ты уже закончил половую карьеру в девятом классе?

– В восьмом, – улыбнулся Олег, заранее зная, что ни с какой разведенкой он встречаться не станет...

Вообще с Борькой у Башмакова сложились странные отношения: Олег был старше на два года, отслужил уже армию, но Слабинзон держался с ним покровительственно и чуть иронически. Это покровительство Олег принимал совершенно спокойно и охотно следовал советам друга, который не только лучше учился, но еще и всегда владел дополнительной информацией самого разнообразного свойства. Однажды они шли после занятий, и Борька кивнул:

– А ты знаешь, кто это там сейчас «у ноги» стоит?

– Кто?

– Сын Хрущева.

– Хрущева? – Башмаков с удивлением вперился в лысеющего очкарика, стоящего возле памятника Бауману. – Похож... А что он здесь делает?

– Гнездо у него здесь...

Если сдавали зачет «машине», Борька точно знал, какой именно ответ из пяти вариантов нужно выбрать.

К концу третьего курса Слабинзон начал писать стихи – тогда многие этим баловались. Борька заявил, что это у него наследственное: покойная бабушка Ася (она, кстати, была старше Бориса Исааковича почти на десять лет) тоже писала стихи, дружила с футуристами и даже дала пощечину самому Маяковскому, нагло приставшему к ней после диспута под названием «Сдохла ли поэзия?». Потом она пожаловалась Лиле Брик, и та добавила «горлану-главарю» еще одну оплеуху от себя. Владимир Владимирович заплакал и пообещал застрелиться.

И вот однажды после лекций Борька потащил Олега на заседание литературного объединения при горкоме комсомола. Стихов Башмаков сроду не сочинял, но однажды в армии, когда мысли об изменщице Оксане стали невыносимы, он, сидя в Ленкомнате и делая вид, будто пишет письмо домой, на самом деле запечатлел на бумаге свое глубокое отчаяние. Получилось что-то среднее между рассказом и воплем души. Короче, боец стоит в карауле с автоматом, думает о своей неверной девушке и хочет застрелиться. Он уже передвигает предохранитель, оттягивает затвор, но в этот момент вдруг появляется командир, проверяющий караул, и отчи-

тывает бойца, не крикнувшего своевременно: «Стой! Кто идет?» Все это, кстати, было не придумано, а случилось с Олегом на самом деле.

Литобъединением руководил старенький, седенький поэт-песенник. На каждом заседании он непременно рассказывал одну-две истории, начинавшиеся словами: «Как-то раз мы с Мишей Светловым пошли в ресторан...» У тех, кто регулярно посещал литобъединение, сложилось впечатление, будто Светлов ничего в жизни больше не делал, как только ходил в рестораны, а потом хулиганил вместе с поэтом-песенником.

Первой читала стихи юная дама с белым от пудры лицом и кроваво напомаженными губами. Голос у нее был тонкий, рыдающий:

*Что-то сломалось. А что – не знаю.
Не понимаю, сломалось что.
Что-то сломалось – и я умираю,
Кутаясь в замшевое пальто...*

Подслеповатый руководитель слушал, чуть склонив голову набок, и еле заметно улыбался. Когда она замолчала, он некоторое время жевал губами, а потом задал с виду невинный, но в сущности ехиднейший вопрос:

– А что все-таки сломалось?

– А что обычно ломается у девушек! – хихикнул Борька.

– Без двусмысленностей, юноша! – Старый поэт поднял сухой палец.

– Это же метафора! – чуть не заплакала напудренная.

– Ах, метафора! Вы знаете, как Миша Светлов назвал этого... как его? – Руководитель явно прикидывался, что забыл фамилию знаменитого поэта. – Ну, он еще все Ленина с денег убрать просит...

– Вознесенского! – подсказали из зала.

– Да, этого... Он назвал его «депо метафор». Запомните!

Следом читал парень внушительной рабочей наружности. Каждую рифму он словно вбивал в воздух здоровенным красным кулаком:

*Поднимается вновь
 день.
Мне в кровати лежать
 лень.
Бродит в теле моем
 кровь,
Манит душу мою
 новь.
И гудками меня
 зовет
На работу родной
 завод!*

– А разве сейчас есть гудки на заводах? – ехидно спросил из зала Слабинзон.

Заводской парень побледнел, сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на обидчика:

– Не твое дело!

– Ничего, ничего, это метафора. Так ведь? – коварно улыбнувшись, спросил руководитель.

– Метафора, – угрюмо согласился рабочий поэт.

- Но дело не в метафоре. Это стихи для стенной газеты – не более того.
- Посмотрим! – буркнул парень и скрылся в задних рядах.
- Ну а теперь вы! – Старичок ткнул длинным пальцем в Слабинзона.
- Может, в другой раз? – замялся Борька. – Я не готовился сегодня...
- Поэт всегда должен быть готов любить женщину и читать свои стихи! Запомните!

Дальше последовал длинный рассказ о том, как, выйдя из писательского ресторана, Миша Светлов решил наискосок пересечь площадь Восстания и был остановлен орудовцем. Поднявшись с милиционером в «стакан» для составления протокола, Светлов стал читать стихи и читал до тех пор, пока его не отпустили восвояси.

Башмаков, конечно, уже забыл то длинное Борькино стихотворение с эпиграфом из Павла Когана, в памяти зацепилось лишь одно четверостишие:

*Буря редела,
Была о пристань,
Ночь окривела
Звезд на триста!*

Читал Борька замечательно, то перекрывая голосом воображаемую бурю, то еле слышно шепча предсмертные слова застреленного пирата.

– Смело! – похвалил руководитель. – Раскидисто. А почему ночь окривела звезд на триста? Разве на небе было именно шестьсот звезд?

– Это же метафора! – только и смог возразить Борька под ликующий хохот заводчанина и одобрительное попискивание сломанной дамы.

– Понятно. Экие вы все, молодые люди, метафорические! Запомните, литература должна выяснять отношения с жизнью, а не с литературой! Ну-с, а вы? – Старичок кивнул Башмакову.

– У меня нет стихов.

– А что же у вас есть?

– Не знаю. Так, в армии написал.

– Читайте!

Башмаков сбивчиво, краснея, потев и путаясь в бумажках, пробубнил свой рассказец.

– М-да... – вздохнул руководитель и странно посмотрел на Олега. – Конечно, там, где вы пишете про то, как ваш герой мысленно «целовал ее шальные глаза, опускаясь при этом все ниже и ниже...» – это чудовищно! Безвкусно. Миша Светлов в таких случаях говорил: «Двадцать два. Перебор». А вот когда вы хотите думать о девушке, а из-за холода думать можете только о тепле – это хорошо. И про офицера, который ругает солдата за нарушение караульного устава, а солдат только что хотел застрелиться, – тоже хорошо. У вас много написано?

– Только это.

– Жаль. У вас способности. Где вы учитесь?

– В МВТУ.

– А почему именно в МВТУ?

– Не знаю. Посоветовали.

– Я вам тоже дам совет. Запомните: чуждые знания убивают талант! Когда напишете еще что-нибудь – приходите...

На обратном пути подружившиеся с горя Слабинзон и заводской поэт сообща бранили руководителя.

– Это же образ! – возмутился Борька. – Гипербола! А он, старый пердун, звезды будет пересчитывать!

– Вот и я говорю! Стенгазета... Я уже в многотиражке печатался. А он – стенгазета...

– Он просто ничего не понимает в стихах! – подпискивала увязавшаяся за ними сломанная дама. – Вы знаете, какие песни он пишет?

– Какие?

– «Мы в тайге построим города и любимых приведем туда...» Вот какие!

Купили водку и зашли в шашлычную. Рабочий поэт, получивший премию, угощал. Поэтесса пила водку не морщась, курила «Приму» и, размазывая помаду, пиццала стихи про несчастную любовь:

*Я не сдавалась, не сдавалась!
Другим, как кошка, отдавалась,
Не воздевая, не любя —
Чтоб в сердце не пустить тебя!*

– «Как кошка» – плохо, – качал головой рабочий поэт. – Получается – «какошка». Лучше – «как сука»...

Напившись, сломанная дама заявила, что твердо намерена сегодня отдаться Башмакову только потому, что он не пишет стихов. Олег страшно испугался, на мгновение вообразив себя вместе со всеми своими «недолетными» комплексами в распоряжении этой пьяной вакханки. Не получив отзыва, она повисла на заводском поэте и заплетающимся языком стала доказывать, что любой мужчина – животное, а раз так, то это животное должно быть хотя бы сильным и ненасытным. Борька и Башмаков потихоньку встали из-за стола, а сломанная дама, дымя «Примой», читала набычившемуся заводчанину:

*Я постель постелю в Лабиринте
И к себе Минотавра дождусь!*

Впоследствии, к удивлению Башмакова, она стала известной поэтессой и даже некоторое время была замужем за Нашумевшим Поэтом. Потом они разошлись. Сломанная дама, по слухам, еще долго куролесила, лечилась от пьянства, пока не сошлась со знаменитым хоккеистом. Она и теперь иногда мелькает в телевизоре – вся какая-то плоская, выцветшая, словно старое пятно от портвейна на обоях.

Башмаков летом, после сессии, собирался написать еще что-нибудь из своей армейской жизни. На третьем курсе учиться стало полегче. Его снова затомила тоска по женской ласке и замучили мысли о «недолетней» вечности. Вот Олег и решил утопить отчаяние в творчестве. И кто знает, что бы из этого могло выйти? Но сначала была практика, потом «картошка», а затем он познакомился с Катей...

Олег не испытывал к будущей жене того ослепительного влечения, как к шалопутной Оксане, влечения, от которого трепещет сердце и млеет тело. Следовательно, думал он, оставалась робкая надежда на хладнокровную победу над своей неуспешностью. Ему даже стало казаться, что Катя специально послана ему судьбой для исцеления: ведь и встретились они, как с Оксаной, в парке, и поцеловались впервые тоже в кино. Когда это произошло, Катя испуганно сжала губы и закрыла лицо руками.

– А ты что, целоваться не умеешь? – спросил Башмаков, ощущая прилив хамоватой отваги.

– В институте этому не учат! – жалобно ответила Катя.

– Придется тобой заняться!

– Обойдусь.

С наивно неосведомленной и смешно сопротивляющейся Катей он почувствовал себя угрюмо-опытным и безотказным, как автомат Калашникова. А в тот памятный день, когда,

радостно зверея, он расширял ходы в прорванной девичьей обороне, Катя, целуя его в глаза, перед тем как пасть окончательно, прошептала:

– Тебе же будет плохо со мной... Ты меня бросишь! Я же ничего не умею...

– Знаешь, как в армии говорят?

– Как?

– Не можешь – научим. Не хочешь – заставим!

– Не надо заставлять... Я сама... Ты меня не бросишь?

С этого дня в Катиных голубых глазах появились покорная нежность и тревожное ожидание. А Олег по какой-то тайной плотской закономерности навсегда избавился от своих «недолетных» кошмаров. Тревожное ожидание исчезло, когда Башмаков – после исторического объяснения с Петром Никифоровичем – сделал Кате предложение и познакомил ее со своими родителями. Сначала, правда, он поделился планами со Слабинзоном.

– Любовь-морковь? – удивился Борька.

– Судьба! – вздохнул Олег.

Родителям Катя понравилась с первой же встречи. Олег пригласил ее в гости на Восьмое марта. Соседей, зашедших на праздничный запах, интересовало, как всегда, только выпить-закусить. Возможно, какое-нибудь особое мнение высказал бы Дмитрий Сергеевич, но он уже год как сидел за растрату. А вот приехавшая специально на смотрины из Егорьевска бабушка Дуня осталась недовольна:

– Тощая чтой-то девка подобралась! Прежняя поглаже была!

Катя и в самом деле чем-то походила на ту – с дембельской чемоданной крышки – тонюсенькую девчонку на краю далекой платформы...

«Судьба», – подумал Башмаков, заметив строгую благосклонность на лице Людмилы Константиновны.

В такие минуты она была очень похожа на свою мать, покойную бабушку Лизу...

7

Эскейпер вздохнул: год от года, словно чешуей, жизнь обрастает документами и покойниками, документами и покойниками... Когда-то единственным документом, подтверждавшим его существование на земле, была бледно-салатовая обтрепанная книжечка с зелеными денежными буквами – «Свидетельство о рождении». И смерть была тоже всего одна: бабушка Лиза скончалась от рака легких, когда Олегу было шесть лет. Как многие секретарши-машинистки, Елизавета Павловна страшно курила. Курила, даже когда сажала внука на колени, но чтобы не повредить младенцу, выпускала в сторону длинные сизые струи, достававшие аж до противоположной стены комнаты.

Эта комната, просторная, с высоким лепным потолком, старым дубовым паркетом и недействующей изразцовой печкой, эта комната, где Башмаков провел детство, отрочество и даже юность, была, собственно говоря, ее комнатой, полученной еще до войны по ордеру наркомата, где Елизавета Павловна прослужила почти до самой смерти.

Когда дочь, разрушив ее мечту о принце с вузовским ромбиком на лацкане, вышла замуж за парня со странным именем и вечно непромытыми от типографской краски руками, да еще привела своего егорьевского горемыку на ее жилплощадь, – Елизавета Павловна приняла это как незаслуженную кару и в знак протеста отгородилась ширмой. Даже ужин она стала себе готовить отдельно, а в субботу вечером всегда уезжала в Абрамцево, на дачу к подруге. Молодые родители, как запомнил Башмаков, в этот день смеялись, дурачились, складывали ширму, заводили патефон и выпроваживали ребенка во двор погулять. Если же было ненастье, то они просто отправляли его в коридор, а забавник Дмитрий Сергеевич вручал Олегу свою охотничью двустволку и ставил на пост возле общего туалета. Маленький караульный должен был напоминать соседям о том, что, покидая уборную, необходимо погасить свет и вымыть руки.

С бабушкой Лизой были связаны первые сомнения Олега в незыблемости закона о парном сосуществовании мужчин и женщин. Елизавета Павловна была одинока, а о дедушке Косте ничего определенного в семье не говорили, и маленький Башмаков самостоятельно решил, что тот погиб на войне, как и дедушка Валентин – первый муж бабушки Дуни. Однако бабушка Дуня, считавшая, что теща жестоко утесняет ее сына, в отношении дедушки Кости придерживалась иной точки зрения. Всякий раз, наезжая из Егорьевска, она потихоньку и почему-то лишь малолетнему внуку наговаривала, будто никакого дедушки Константина никогда и не было:

– С начальником бабка Лиза твоя Людмилку прижила. Дело-то обычное. И у нас на заводе от директора секретарша родила. Дело-то обычное...

Надо сказать, Елизавета Павловна платила свойственнице тем же: завидев ее на пороге, она холодно здоровалась и удалялась за ширму, словно в изгнание. А появлялась лишь затем, чтобы кивнуть на прощание. Когда же между родителями заходил тихий разговор про то, что бабушка Дуня выгнала из дому очередного своего мужа, Елизавета Павловна в белой ажурной кофточке и темно-синей юбке (она ходила дома, как на работе) появлялась из-за ширмы и, не вынимая папиросы изо рта, интересовалась:

– Это которого, Федора Дорофеевича? – И на лице ее появлялось совершенно особое выражение.

Смысл этого выражения Башмаков понял гораздо позже. Это было чувство гордо-насмешливого превосходства женщины, навечно исключившей из своей жизни мужчин, над женщиной, все еще жалко и суетливо зависящей от этих глупых, грубых и неопрятных существ.

А тайну дедушки Константина Елизавета Павловна чуть не унесла с собой в могилу. Когда ее кремировали в Донском, выступавший у гроба член профкома министерства подчеркнул, что за четыре десятилетия образцового труда покойница не допустила ни единой опе-

чатки, и если составлялись отчеты для Него (докладчик поднял очи горе), то доверяли это исключительно Елизавете Павловне. Присутствовавший на похоронах малолетний Башмаков был потом некоторое время убежден в том, что его усопшая бабушка печатала бумаги для самого Бога, и даже доказывал это своим уличным дружкам. (О существовании Бога он знал от бабушки Дуни.) Эти странные высказывания сына дошли и до Труда Валентиновича: обмен общемировой и дворовой информацией происходил обычно по воскресеньям в процессе забивания «козла», от чего сотрясался весь дом. Отец строго разъяснил сыну, что печатала бабушка не для Бога, а для Сталина, который хоть и генералиссимус, но, если верить статье в «Правде», совсем не Бог, а скорее даже – черт.

– Значит, когда Бог умирает, он становится чертом? – спросил маленький Башмаков.

На похоронах бабушки Лизы самую большую скорбную активность развила, как ни странно, примчавшаяся из Егорьевска бабушка Дуня. Она не только объясняла невежественным москвичам, как положено прощаться с усопшими, но даже, расстегнув пуговицы надетой на мертвое тело блузки, деловито пошарила рукой меж окоченевших грудей и, не найдя там креста, сняла свой и отдала покойнице. Елизавета Павловна уже не могла спрятаться за ширму от всех этих фамильярностей. При этом бабушка Дуня бормотала себе под нос:

– И сжигать-то зачем надо? Нешто человек полено?!

Башмаков был приподнят отцом и поднесен к изголовью для прощания. Он запомнил, что одна пуговица так и осталась незастегнутой, и еще поразился тому, насколько умершая похудела и помолодела. Но главное, Олег почувствовал сильнейший табачный запах, идущий от волос покойницы, и очень испугался. Этот папиросный дым почему-то показался ему признаком еще теплящейся в мертвом теле жизни. Он вырвался из рук отца и спрятался в толпе провожающих. Наверное, из-за того детского испуга Башмаков так и не пристрастился к курению.

А вскоре после похорон, перебирая оставшиеся от матери вещи и поплакивая, Людмила Константиновна отыскала в потайном кармашке «ридикюля» справку о посмертной реабилитации Константина Евграфовича Беклешова. Оказывается, Елизавета Павловна ей перед смертью открылась. Почти вся родня Беклешовых была репрессирована, причем только дедушка Константин, инженер, в 37-м, а остальные – профессора, священники, бывшие офицеры – гораздо раньше, еще в 20-е. Он был крупный, но беспартийный специалист по угольным шахтам, и, действительно, юная, еще не курящая Елизавета Павловна работала у него поначалу секретаршей. Когда же обозначился ребенок, Беклешов ушел от жены и стал открыто жить с Елизаветой Павловной. Но жена, оставшись с двумя детьми, развода Константину Евграфовичу не дала – и формально они оставались супругами до самой смерти. Потому-то, по мнению многих, именно ту, законную, а не Елизавету Павловну, – забрали и погубили следом за ним.

Впрочем, покойная бабушка придерживалась иной версии. Законная жена Константина Евграфовича приходилась дальней родственницей Льву Каменеву. Благодаря этому дед и уцелел в 20-е, когда был иссечен весь его дворянский корень. Но именно родственные связи жены погубили его позже, в 37-м, когда хитроумный Сталин изничтожил непослушных соратников, а заодно и почти всю их родню. Так что кто кого погубил – дед Константин свою жену или она деда Константина – большой вопрос...

Впрочем, обо всем этом Башмаков узнал от матери, унаследовавшей опасливую скрытность бабушки Лизы, сравнительно недавно, когда началась Перестройка и о репрессиях стали много писать и разговаривать. И выяснилось странное обстоятельство: среди родственников Труда Валентиновича никто никогда даже не привлекался, хотя многие в роду пошли по типографской линии, довольно опасной во все времена. Так, самого Башмакова-старшего однажды чуть не погнали с работы за то, что в газете, набранной в его смену, по ошибке цинкографии геройские звезды оказались у Брежнева не слева, как положено, а справа. Скандал был тот еще! Весь тираж пустили под нож и напечатали заново. А начальника смены уволили.

– В тридцать седьмом тебя бы расстреляли, – заметила по этому поводу Людмила Константиновна и в клочки разорвала запретный экземпляр газеты, принесенный отцом домой вместо обычной квартальной премии.

– Не-а! – радостно возразил отец, уже выпивший свою законную послесменную кружку пива. – Когда меня в начальники смены пихали, я что сказал?

– Что у тебя и так зарплата большая? – усмехнулась Людмила Константиновна.

– Не-а! Высоко сидишь – далеко глядишь, зато больно падаешь! Сегодня ты человек, а завтра бабашка. Нам же много не надо: щи покислее да жену потеснее!

– И пиво с бычком...

– Люд, ты сильно не права!

Дело в том, что Олег в дошкольный период своего существования однажды здорово подвел отца. Труд Валентинович, как обычно, вел сына из детского сада и остановился на Солянке возле ларька, где собирались после работы окрестные мужички и куда изредка прикатывал на тележке инвалид Витенька, столь поразивший некогда детское воображение Олега. Отец остановился с закономерной и вполне невинной мыслью выпить конвенционную кружку пива. В процессе взаимной притирки Людмила Константиновна после долгого сопротивления все-таки сделала уступку неодолимому родовому башмаковскому влечению к выпивке и разрешила мужу 1 (одну) кружку пива после работы. Она-то и называлась «конвенционной». Труд Валентинович вроде бы на это согласился. Но демоны искушения не дремали и в тот вечер явились в виде двух мужичков, купивших в гастрономе бутылку «зубровки» и подыскивавших третьего. Кстати, напрасно утверждают, будто русский народ в пьянстве не знает меры. Знает. И эти стихийные, совершаемые по какому-то подсознательному порыву поиски третьего – тому свидетельство. Разве нельзя выпить бутылку вдвоем? Конечно, можно. А поди ж ты...

Труд Валентинович колебался недолго, но строго-настрого предупредил сына: если мама будет спрашивать, что пили, намертво тверди – пиво.

– А это пиво? – удивился Олег.

– Конечно, пиво. Только в бутылке. Так вкуснее...

Как выпивающий мужчина никогда не перепутает на вкус пиво и «зубровку» (хотя цвет примерно одинаковый), так жена выпивающего мужчины никогда не ошибется, что именно – пиво или «зубровку» – употребил супруг, прежде чем заявиться домой.

– Да нет, Люд, кружечку, как обычно! – обиделся даже Труд Валентинович.

– Может, это какое-нибудь особенное пиво, повышенной крепости?

– Обычное. Жигулевское. Правда, старое, зараза, мутное...

– И в бутылке! – добавил Олег, крутившийся под ногами у выяснявших отношения взрослых.

– В бутылке?

– В бутылке, – окончательно обиделся на такое недоверие Труд Валентинович. – А что, разве пива в бутылках не бывает?

– Бывает. А что, Олеженька, было нарисовано на бутылке?

– Бычок.

– Какой бычок?

– А вот такой. – Будущий эскейпер приставил указательные пальчики ко лбу и замычал.

Из-за ширмы вышла доживавшая уже последние месяцы бабушка Лиза и, чуть надломив в презрительной улыбке сухие бескровные губы, поплелась на кухню. Так с тех пор и повелось: если Труд Валентинович выходил за рамки внутрисемейной конвенции, ему задавался лишь иронический вопрос:

– А пиво было с бычком?

Но вернемся к убеждению Труда Валентиновича в том, что карабкаться высоко вверх по ступам жизни совершенно не обязательно и что счастье заключается совсем в другом. Эта

житейская мудрость, кстати, крепко запала, а может, просто перешла с генами к Олегу Трудовичу. Нет, он не был чужд честолюбия, но это было какое-то особенное, попутное честолюбие. Башмаков никогда не шел напролом, разрывая и расшвыривая злокозненные липкие сети, сплетаемые судьбой. И, как правило, выигрывал. Где теперь незабвенный Рыцарь Джедай? Где теперь грозный Чеботарев со своей зеленой книжкой? Где Докукин? Зато он, Олег Трудович, вот он, здесь, целехонький, и собирается на Кипр с молодой любовницей. И жить теперь будет, что твой феодал, в замке, на берегу моря, а спать – в фантастической кровати, которую в любой момент специальный механизм может поднять из спальни на крышу – к звездному небу...

Конечно, к такому замку еще бы и ветвистое, как рога неуспешного мужа, генеалогическое древо! Только кто ж теперь расскажет подробно про беклешовскую ветвь? Белая, дворянская кость так же безмолвно истлевает в земле, как и черная, простолюдинская. Никто не расскажет. А от бабушки Дуни, кроме причитаний о пропавшем без вести деде Валентине, остались лишь только смутные предания о прадеде Игнате, который был огненно-рыж и настолько грозен во хмелю, что, когда напивался, улицы Егорьевска пустели и даже собаки за воротами притихали...

Эскейпер вздохнул о прямом, как телеграфный столб, генеалогическом древе и продолжил разбор документов. За годы, прошедшие с тех пор, когда он вот так же, готовясь к своему первому побегу, раскладывал документы на две кучки, прибавилось много новых покойников и много новых бумажек. Появилось Катино свидетельство об окончании курсов повышения квалификации учителей, корочки к значку «Отличник народного образования», башмаковский кандидатский диплом, несколько загранпаспортов, смешные бумажки под названием «ваучеры» и еще более смешные под названием «мавродики», множество разных других свидетельств и удостоверений. Зато исчезли документы Дашки...

Олег Трудович подумал о том, что вот это перепутанное сообщество его и Катиных документов и есть, собственно говоря, совместная жизнь, а разрыв – это когда документы будут храниться отдельно. Башмаков бросил в свою кучку злополучное райкомовское удостоверение и партбилет, абсолютно бесполезный теперь в деле сохранения семьи. Постепенно перед ним на диване образовались две примерно одинаковые стопочки, а свидетельство о браке он пока положил посередине. На самом дне обнаружили Катино свидетельство о крещении и башмаковская фотография «три на четыре» из тех, что он сделал, когда оформлялся в секретный «Альдебаран».

Надо же, как все преобразилось! Самого-то Олега в беспамятном младенчестве окрестила бабушка Дуня. Она специально для этой цели приехала из Егорьевска, якобы поняичить внука, умученного яслями, дождалась, покуда все уйдут на службу, и отвезла его в Елоховскую церковь. Крестильное имя ему дали – Игнатий. Это бабушка специально так подгадала, потому что с самого начала хотела, чтобы внука назвали Игнатом в честь прадеда. Но Людмила Константиновна, конечно, свекровь не послушала.

Олег, разумеется, ничего об этом по малости лет не помнил, но в семье иногда рассказывали: в купель он лезть не хотел, крепко ухватил батюшку за епитрахиль – и тот пробасил, что паренек вырастет рукастый. И действительно, в пятом классе Олег смастерил такую табуретку, что она до сих пор стоит в школьном кабинете труда как образец для подрастающих поколений. Но, видимо, на эту табуретку и ушла вся отпущенная ему рукастость, и Катя, например, решительно относит мужа к распространенной категории тех, у кого руки растут сами знаете откуда.

Когда Людмила Константиновна обнаружила на шее сына веревочку с алюминиевым крестиком, она схватилась за сердце, пила валерьянку вперемежку с седуксеном и кричала на свекровь:

– Вы что, ничего не понимаете?! Они всех записывают! Всех!!!

– А чего записывать? Господь – Он и так всех новообращенных наперечет знает, – простодушно оправдывалась бабушка Дуня.

– Да не для Бога они записывают, а для органов, наивная вы женщина! – не показываясь из-за ширмы, упрекала Елизавета Павловна. – Ах, вы все равно не поймете!

– Каких еще таких органов? – недоумевала бабушка Дуня, явно прикидываясь. – Для участкового, что ли?

– Поймете, для каких органов, когда нас всех с работы поувольняют! – кричала Людмила Константиновна.

С работы никого, конечно, не уволили, но бабушка Дуня, наезжая из Егорьевска, выкладывая на стол молоденькую морковку и лучок с огорода, всякий раз интересовалась:

– Ну и приходили органы-то? Аль где замешкались?!

Во всяком случае, именно так, посмеиваясь, рассказывал историю крещения сына Труд Валентинович. В ответ Людмила Константиновна чаще всего намекала на то, что бесспросным крещением, собственно, и исчерпываются заслуги бабушки Дуни перед внуком, а остальные силы она потратила на устройство своей личной жизни. Это было, конечно, несправедливо, так как у бабушки в Егорьевске Олег проводил почти все лето.

Но с другой стороны, бабушка Дуня и в самом деле была замужем пять раз. Однако все браки, за исключением первого, от которого родился Труд Валентинович, оказались неудачными. Олег, приезжая на каникулы и обнаруживая в домике очередного «дедушку», очень быстро заметил одну закономерность: все ее последующие мужья были внешне чем-нибудь, но обязательно похожи на самого первого – Валентина, пропавшего без вести под Мясным Бором в 42-м. Его галстучный портрет висел над комодом. Лицо деда, по тогдашнему фотографическому канону, было напряженным, глаза преданными, а губы чуть тронуты кармином. По рассказам, он был человеком образованным, политически грамотным и работал наборщиком в типографии. Жену, почти девочкой взятую из близлежащей деревни, он обещал, если родит ему сына, обучить грамоте, а потом все откладывал и, уходя на фронт, очень сокрушался, что не успел-таки. Ведь письмо, под диктовку составленное на почте, совсем не то, что весточка, написанная родной рукой. А бабушка Дуня так и умерла неграмотной, хотя Башмаков, будучи уже школьником и приезжая на каникулы, несколько раз принимался учить ее чтению и письму, но выучил только расписываться.

Принять исключительно физиологическую версию бабушкиного многожества, на которую, как понял с возрастом Башмаков, туманно намекали Елизавета Павловна, а позже и Людмила Константиновна, он не мог. Вероятно, в каждом новом муже бабушка Дуня жаждала обрести своего пропавшего без вести Валентина. Но внешнее сходство не гарантировало искомых внутренних качеств. Смириться с этим она не могла и потому жила с «дедушками» недолго, а основное время проходило в ожидании еще кого-то, кто будет окончательно похож на первого мужа. На вопросы, чем не устраивал ее очередной изгнанный спутник жизни, бабушка Дуня отвечала обычно в таком роде:

– Жадный как черт, прости господи! На всем готовом жил, а как собираться стал, даже духи – на доньшке оставались – забрал... Скопидом!

Последнего сожителя она изгнала, когда ей было под семьдесят. В тот год, как раз родилась Дашка. Бабушка Дуня специально примчалась из Егорьевска. Но тут Людмила Константиновна и Зинаида Ивановна проявили бдительность и перехватили злоумышленницу, вызвавшуюся погулять с внучкой, чуть ли не на автобусной остановке. Крестили Дашку через много лет, одновременно с Катей.

Жена решила креститься неожиданно, сразу после истории с великим Вадимом Семеновичем. Тогда все повалили в церковь; и даже бывшие обкомовские вожди норовили отстоять всенощную, держа в руках свечки на манер вилки с маринованным закусочным грибочком. Крестили сразу человек по десять, без купели, с помощью обрызгивания. Замотанный батюшка, собрав новообращенных в кружок, наставлял их усталой скороговоркой, как курортный инструктор по плаванию, напутствующий отдыхающих перед первым выходом на пляж.

Крестик, который Башмаков привез Кате из-за границы еще в райкомовские времена, не подошел, ибо ступни у католического Иисуса скрещены и пробиты одним гвоздем, а у православного – рядом и на двух гвоздочках. Катя дунула-плюнула на происки сатаны, подразумевая, очевидно, Вадима Семеновича, и воцерковилась.

Во время таинства Башмаков стоял в толпе воцерковленных дачников в притворе, наблюдал все издали, через головы. Храм был сельский, тесный и располагался неподалеку от тестевой дачи. В мае поехали на сельхозработы к вдовствующей Зинаиде Ивановне, покопали, а заодно и окрестились.

Дашка выскочила на паперть радостная.

– А ты знаешь, что значит «Дарья»? – спросила дочь.

– Нет.

– Сильная! – Дашка раскрыла брошюрку, купленную в храме. – А знаешь, что означает «Катерина»?

– Что?

– Всегда чистая и непорочная.

– Всегда? – Башмаков чуть заметно усмехнулся. – А что означает Олег?

– Ничего. Просто Олег... – полистав, удивленно сообщила Дашка.

– Странно. А Игнатий?

Дочь стала снова листать брошюрку и выронила вложенные в нее крестильные корочки.

– Дай мне удостоверения, а то потеряешь! – потребовала Катя.

– Не дам. Игнатий значит «не родившийся»...

– Как это «не родившийся»? – оторопел Башмаков.

– Дарья, дай сюда удостоверения! – строго повторила жена. – Дай сейчас же – я спрячу!

И спрятала. Дашка, когда уезжала во Владивосток, весь дом перерыла – искала, чтобы увезти с собой. Нашла между книжек – и свое, и материно. Но Катя совершенно не обрадовалась, а молча сунула картонку с большой печатью приходского совета Благовещенской церкви в коробку с семейными документами.

8

Эскейпер положил крестильное удостоверение в Катину кучку и взял в руки альдебаранскую фотографию. На снимке он был мрачен, вероятно, еще не отошел от скандала с черной икрой. А может, напротив, уже проникся новой ответственностью, ведь научно-производственное объединение «Старт» занималось космосом, а точнее, разрабатывало достойный ответ американцам с их чертовыми «звездными войнами».

В первый же день Башмакова вызвал к себе начальник отдела Викентьев по прозвищу Уби Ван Коноби – седой сухощавый человек с движениями спортивного пенсионера. Его кабинет был увешан дипломами победителя соревнований по настольному теннису, а в самом видном месте, под портретом Циолковского, располагалась большая фотография: Викентьев, одетый в трусы и майку, размазанно-резким движением проводит свой коронный «гас».

– Очень, голубчик, рад! Вас, Олег... э-э... Трудович, – он глянул в бумажку, лежавшую перед ним, и улыбнулся, – Михаил Степанович рекомендовал мне как очень исполнительного и знающего организатора.

Михаилом Степановичем звали заместителя директора НПО Докукина. В недавнем прошлом Докукин заведовал отделом науки и вузов Краснопролетарского райкома партии и хорошо знал Башмакова. Самого его «ушли» с партийной работы за развод, хотя в те времена на разводы ответработников, если совершались они тихо и по взаимному согласию, научились уже смотреть снисходительно. Но жена Докукина проявила страшную, прямо-таки трамвайную склонность – и в партийных верхах об этом семейном скандале знали все, кроме, может быть, только членов Политбюро. Кремлевских старцев, учитывая их состояние здоровья, помощники старались оберегать от отрицательных эмоций и поэтому не доложили им о том, что Докукин – изменщик, дебошир и двурушник, позволяющий себе в домашней обстановке издеваться над политикой партии и правительства.

Говорят, Чеботарев, ценивший Докукина и долго прикрывавший его, наконец не выдержал, вызвал к себе и сказал:

– Ищи работу, Миша! Я помогу... Но больше никогда не женись на стерве! Будь другое время, посадил бы ее к чертовой матери, чтоб работать не мешала, – и дело с концом...

Докукину пришлось перейти в «Альдебаран», но по старой памяти он продолжал пристально следить за происходящим в районе, вероятно, в душе надеясь на возвращение. Конечно же он не мог не заметить икорного происшествия с Башмаковым. Из чувства солидарности, которое всегда сближает обиженных по службе, Докукин позвонил Олегу и предложил ему место зама в отделе Викентьева. Когда Башмаков уже работал в «Альдебаране», Михаил Степанович женился во второй раз – на уборщице, тихой, как библиотечная мышь, матери-одиночке, наводившей по вечерам порядок в его кабинете. Докукин по райкомовской привычке часто засиживался допоздна, она приносила ему чай-бутерброды – так у них потихоньку и сладились...

– Ну а чем, голубчик, вы у нас раньше занимались? – продолжал расспрашивать Башмакова его новый начальник.

– Я окончил МВТУ. Энергомаш. Диплом писал...

– Да нет же, – с мягким недовольством оборвал Викентьев. – В райкоме-то вы чем занимались?

– Был заведующим орготделом.

– Ага, это значит... – он сделал руками такое движение, словно заключил пространство в невидимую форму, – значит, организовывали?

– Ну да.

– Любопытно! В последнее время у нас участились случаи опоздания на работу. Заместитель по режиму жаловался. Потом, знаете, второй год никак не сдадим сообразительности. Тоже ругаются. Ну а с наглядной агитацией просто катастрофа какая-то! Ходила тут комиссия от вас, из райкома, опять же бранились... Ну, вы сами знаете, что мне вам рассказывать. Вы уж озаботьтесь, голубчик!

– Виктор Сергеевич, я рассчитывал... – залепетал Башмаков.

– Эх, Олег... – Викентьев снова заглянул в бумажку, – Трудович, считайте себя пока работником героического тыла. А на передний край науки еще успеется. Договорились? И не забудьте о досуге коллектива. Ну, театры, концерты, выставки... И конечно же спорт! Я вас прошу!

Вскоре стены лабораторий покрылись, как цветной плесенью, всевозможной наглядной агитацией, включая большой стенд «Ленин и космос». Роскошно переплетенные сообразительности вызвали буйный восторг секретаря институтского парткома Волобуева. Прошли шахматный и теннисный турниры, а также соревнования по преферансу: в двух последних состязаниях победил Викентьев. А дети сотрудников стали регулярно посещать кукольный театр – тут по старой памяти помогла брошенная кукловодка. Она к тому времени успела выйти за главного режиссера, сверстника Сергея Образцова, но сохранила теплые воспоминания о Башмакове и их недолгом романе. Оставленные женщины почему-то зла на Олега Трудовича не держали. И только Катя после той памятной истории с выносом дивана сказала однажды:

– Если бы ты от меня тогда ушел, я бы ненавидела тебя до самой смерти. И Дашку научила бы тебя ненавидеть! И Дашкиных детей...

Атмосфера в отделе царила шутливо-академическая. Тут – то Олег хлебнул лиха со своим необычным отчеством. В первый же день, представляя его коллективу, Викентьев невольно улыбнулся, произнеся «Трудович». А лабораторный остроумец Каракозин, по прозвищу Рыцарь Джедай, тут же поинтересовался:

– Олег Гертрудович, а вы, собственно, кто по образованию – заместитель?

– Олег Трудович окончил МВТУ! – еще шире улыбнулся Викентьев.

– Ах, простите великодушно, перепутамши! – издевательски заизвинялся Каракозин.

С тех пор чуть ли не каждый день, к восторгу сотрудников, он придумывал Олегу все новые и новые издевательские отчества. Вообще в «Альдебаране» прозвища и разные обзывалки очень любили. Собственно, НПО «Старт» в просторечье довольно долго называли «Шарагой», учитывая некоторые особенности его возникновения в ведомстве Берии. А словечко «Альдебаран» появилось после того, как в клубе состоялся закрытый просмотр нашумевшего американского фильма «Звездные войны». Огромный зал был забит до отказа – как говорится, на люстрах висели. Сотрудники притащили с собой родственников и разных нужных людей – врачей, парикмахеров, механиков автосервиса...

Тогда же, после просмотра, многие сотрудники получили прозвища – по именам героев фильма, но лишь за некоторыми эти прозвища закрепились, так сказать, навечно. Эпидемию обзываний начал Каракозин, заметивший, что седовласый спортсмен Викентьев удивительно похож на актера, снявшегося в роли старого джедая, космического рыцаря Уби Ван Коноби. А дальше началась цепная реакция: сам Каракозин сделался Рыцарем Джедаем, завлаб Бадылкин стал именоваться Чубаккой в честь человекообразной собаки-штурмана. А директора «Старта», старенького академика Шаргородского, передвигавшегося той же семенящей подагрической походкой, что и позолоченный робот Р2Д2 из «Звездных войн», так и прозвали – Р2Д2. В довершение всего и сам институт стали называть меж собой не «Шарагой», но «Альдебараном».

Это было так смешно! Лишь недавно, уже работая в «Лось-банке», Башмаков заспорил с Генной Игнашечкиным о том, почему страна, казавшаяся несокрушимой, вдруг взяла и с грохотом наверхулась, словно фанерная декорация, лишившаяся подпорок. И во время спора он

понял почему. Нельзя радоваться чужому больше, чем своему, нельзя ненавидеть свое больше, чем чужое, нельзя свое называть чужими именами. Нельзя! Есть в этом какая-то разрушительная тайна. Они все погибли, распались уже в тот момент, когда восхищались наивными «Звездными войнами» и когда переименовывали «Шарагу» в «Альдебаран». И тут бессильна самая истошная секретность.

А засекречен «Альдебаран» был страшно. Все сотрудники института перед устройством в НПО проходили тщательную проверку, их регулярно перепроверяли, подобно тому, как безногого инвалида регулярно перепроверяют на предмет отсутствия конечности. Кстати, лет за шесть до прихода Башмакова здесь действительно разоблачили самого настоящего шпиона, передавшего американцам настолько ценные сведения, что предателя расстреляли, а в институте снимали кучу народу, за исключением, естественно, академика Шаргородского. Р2Д2 еще перед войной участвовал в создании систем жизнеобеспечения подводных лодок, и его лично знал маршал Устинов.

Прежде чем взять Башмакова на работу в «Альдебаран», его тоже долго проверяли вдоль и поперек и чуть было не отвергли, но не из-за расстрелянного и реабилитированного дедушки Кости, а из-за пропавшего без вести под Мясным Бором деда Валентина. В конце концов Башмакова взяли, и, надо сказать, размеры оклада сгладили все неудобства и тревожения. В «оборонке» тогда получали неплохо.

Сотрудники к появлению нового заместителя отнеслись с настороженной иронией, а инженер второй категории Андрей Каракозин – с подозрительным сарказмом. Рыцарь Джедай был, как и положено рыцарю, высок, плечист, сухощав, носил усы подковой и длинные волосы. В юности он сходил с ума по великой ливерпульской четверке, и во всей его внешности так и осталась некоторая «битловатость». Каракозин всегда ходил в одних и тех же доспехах – в фирменном, но потершемся джинсовом костюме и спортивных туристических ботинках на рифленой подошве. На его всесезонно загорелом лице постоянно мерцала усмешка – добродушная, когда он общался с милыми ему людьми, и презрительная во всех остальных случаях. Он-то, помимо переделок отчества, и придумал Олегу двусмысленную кличку – «Товарищ из центра». Впрочем, никакого уж особенно руководящего положения Башмаков не занимал, у него даже не было своего кабинета, а только стол, правда, у окна и побольше, чем у других.

Жизнь отдела, состоявшего из трех лабораторий, текла размеренно и неторопливо, ибо большая наука суеты не терпит: планы исследований были расписаны чуть ли не до двухтысячного года. Занимались, в общем и грубо говоря (остальное – секрет!), тем, чтобы в космических кораблях следующего поколения каждый чих и вздох, каждое мановение человеческого организма через некоторое время возвращались к космонавту в виде чистой воды и живительного кислорода. Лишь изредка отдел сотрясали авралы. Р2Д2 недолюбливал Уби Ван Коноби и порой критиковал на ученом совете или закрытом партсобрании за «отсутствие оригинальных научных решений», что было, конечно, гнусной клеветой: несколько наработок вообще не имели мировых аналогов и впоследствии, когда все гавкнулось, ушли к американцам за приличные деньги.

После критики Уби Ван Коноби ходил хмурый.

– Распустились! Не режимное учреждение, а богема какая-то! Вы у меня теперь как на заводе Форда работать будете! Как часы...

– Тик-так!

– Что-о?

– Я говорю: так-так. Все правильно! – уточнял Рыцарь Джедай.

Но тут как раз подоспевал какой-нибудь праздник – 23 февраля, Восьмое марта, День космонавтики или же Первое мая. Уби Ван Коноби сменял гнев на милость и даже сам принимал участие в торжествах. Праздновали в кафе «Сирень», но чаще всего на квартире у разведенной сотрудницы, жившей в двух шагах от «Альдебарана». На рабочем месте выпивки запре-

щались строжайше, и за этим бдительно следили «режимники». Вино и водочку покупали в гастрономе, а на закуску общественность жертвовала деликатесы из праздничного продовольственного заказа. Когда было уже порядочно выпито и съедено, лабораторные дамы, зная, как подольститься к начальству, начинали умолять:

- Ну, Виктор Сергеевич, ну пожалуйста!
- Я сегодня что-то не в форме! – отнекивался тот для порядка.
- Ну мы вас про-осим!
- В другой раз.
- Ну пожа-а-алуйста!
- Что с вами поделаешь!

Уби Ван Коноби снимал приталенный финский пиджак и оставался в отлично подогнанных к фигуре брюках, жилетке и белоснежной рубашке. Потом подходил к столу, внимательно проверял его на прочность и делал стойку на руках, с гимнастическим изяществом вытянув мыски к потолку. Когда он легко спрыгивал, изображая цирковой жест «оп-ля!», его лицо было багровым. Народ кричал «ура», выпивал за здоровье нестареющего Уби Ван Коноби, и уже никто не хотел идти домой, хотя поначалу собирались посидеть всего часок-другой.

Хозяйка квартиры Люся жарила на огромной сковороде яичницу для всей компании. Кто пощедрей, махнув рукой, доставал из заказа еще какой-нибудь питательный дефицит, срочно отправляли гонца на стоянку такси за водкой – и веселье продолжалось. Люся, глядя влюбленными глазами на Каракозина, горнолыжника, книгочея и барда, просила:

- Андрюш, спой!

Между ним и Люсей существовали какие-то необязательные (с его стороны) личные отношения, и иногда по окончании вечеринки он оставался, чтобы помочь хозяйке вымыть посуду. Каракозин в ответ на ее просьбу усмехался и вынимал из чехла «общаковую», в складчину купленную гитару, чутко морщась, перебирал струны и строго спрашивал у своего непосредственного начальника – заведующего лабораторией Бадылкина:

- Чубакка, инструмент трогал?

Бадылкин только смущенно покашливал и почесывал лысину. Голос у него был густой, и поэтому, покашливая, он напоминал оперного певца, прочищающего горло перед выходом на сцену. К тому же в физиономии Бадылкина имелась некая неуловимая неандерталинка, и он в самом деле чем-то напоминал человекообразного Чубакку из «Звездных войн». В довершение всего у него были отвратительные зубы с зеленоватыми, как на сыре «Рокфор», пятнами. Разговаривая с ним, Башмаков всегда чуть отворачивал лицо, ловя свежий воздух.

- Я только попробовал... – оправдывался Чубакка.

– В следующий раз только попробуй – руки оторву! – свирепо предупреждал Каракозин и, ударив по струнам, запевал по-высоцки – старательно низким, предсмертно хрипящим, надувающим шейные артерии баритоном:

*Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана.
Учителей сожрало море лжи
И выплюнуло возле Магадана.
Но, свысока глаза на невежд,
От них я отличался очень мало:
Занозы не оставил Будапешт
И Прага сердце мне не разорвала.
Но мы умели чувствовать опасность
Задолго до начала холодов,
С бесстыдством шлюхи приходила ясность*

*И души запирали на засов.
И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет России —
Безвременье вливало водку в нас...*

Окончив эту песню, входившую в обязательный репертуар, Каракозин непременно откладывал гитару и без закуски выпивал рюмку водки, молвив предварительно:

– За тех, кто в тундре!

При этом он страшно морщился, всем видом показывая, как горька она, эта вливаемая безвременьем водка. Остальные жертвы безвременья выпивали следом и с удовольствием. А потом Джедай запевал что-нибудь повеселей:

*Вчера мы хоронили двух марксистов.
Мы их не накрывали кумачом.
Один из них был правым уклонистом.
Другой, как оказалось, ни при чем...*

Башмаков с удовольствием подхватывал: в райкоме на аппаратных торжествах певали то же самое, но, во-первых, перемежая полузапретные песенки надежными «Комсомольцами-добровольцами» или «Птицей счастья завтрашнего дня», а во-вторых, исполняли эти опасенькие песни с неуловимой глумцей и осуждением, как бы переступая незаметную черту и переводя хоровое пение в разряд контрпропагандистской работы. Но эта черта иной раз оказывалась очень зыбкой и подвижной. Произошел даже как-то раз чрезвычайно подлый случай.

Заведующий отделом студенческой молодежи Шахалин враждовал с заведующим отделом пропаганды и агитации Гефсимановым, сыном одного крупняка из ЦК КПСС. Конфликт имел очевидные истоки: Шахалин был парень с головой, но без связей и пробивался сам, даже умудрился посреди райкомовского сумасшествия защитить кандидатскую диссертацию. А Гефсиманов, одевавшийся в двухсотой секции ГУМа, вел себя в райкоме, как ленивый посол могучей милитаристской державы в слаборазвитой стране. Шахалина это бесило, и почти на каждой планерке он старался задеть Гефсиманова, а тот в свою очередь – через папу – делал все, чтобы его враг не стал вторым секретарем райкома, хотя вопрос был уже практически решен и фамилия Шахалина давно значилась в положительной половине зеленой книжицы Чеботарева. Но ЦК есть ЦК...

И вот однажды, когда отмечали День рождения комсомола, любивший выпить Гефсиманов разошелся и спел на мотив «Бьется в тесной печурке огонь» (тогда вошло в моду переиначивать всенародно любимые песни) такой куплет:

*Бьется в тесной печурке Лазо.
На поленьях глаза, как слеза...
И поет мне в землянке гармонь
Про зажаренные телеса...*

Все, даже первый секретарь райкома комсомола Зотов, тоже любивший выпить, засмеялись. И тогда, дождавшись своего часа, Шахалин встал и сказал металлически:

– Я не понимаю, как человек, издевающийся над трагической гибелью героя революции, может быть заведующим отделом пропаганды и агитации?!

Все, конечно, затихли. Ситуация возникла странноватая. Это как если бы два человека долго и плодотворно общались промеж собой, активно употребляя дружественную матерщину,

а потом один вдруг взял бы да обиделся за свою поруганную матушку. Первый секретарь Зотов сразу посмурил, понимая, что это заявление Шахалина превращает дурацкую песенку Гефсиманова из застольной шутки в идеологический проступок, а следовательно, нужно как-то реагировать. Но как реагировать, если сам Зотов собирался переходить на хороший пост в ЦК ВЛКСМ, а ворожил ему в этом непрестом деле Гефсиманов-старший, однако при условии, что его сын, обалдуй и ленивец, займет пост второго секретаря райкома? С другой стороны, сделать вид, будто ничего не случилось, тоже нельзя: Шахалин – парень въедливый, сквалыжный, не дай бог побежит к Чеботареву и нашепчет чего-нибудь в зеленую книжицу.

Скандал все-таки замяли. Гефсиманова деликатно осудили на партийном бюро аппарата, а Шахалина, кисло поблагодарив за идеологическую бдительность, через некоторое время удалили из райкома за нарушение одной из аппаратных заповедей. Заповедей же этих три:

Интригуй, но не в ущерб общему делу!
Пьяные разговоры остаются на дне бутылки!
Интим на работе укрепляет семью!

Со временем Олег Трудович убедился в том, что все эти заповеди носят отнюдь не только комсомольский, но общечеловеческий характер и распространяются на все типы трудовых коллективов.

Шахалина назначили заместителем директора районного центра молодежного досуга, где он в 86-м открыл первое в Москве молодежное кооперативное кафе с дискотеккой под названием «Красная зона». Сейчас у него свой телевизионный канал и сеть химчисток. Зотов же при поддержке Гефсиманова-старшего попал-таки в ЦК ВЛКСМ. Но во время заграничной командировки в ГДР он напился и разбил лбом стеклянную стенку, когда рванулся навстречу вошедшему в зал приемов Эриху Хонеккеру. Это и стоило ему карьеры. Не Хонеккеру, понятное дело, а Зотову. Хонеккера погубила иная стена – Берлинская... Впоследствии Зотов окончательно спился. И когда в 94-м, трепеща от подбирающейся похмельной летальности, он влачился по улице, около него резко затормозил «Линкольн», открылась дверца и оттуда вышел Шахалин.

– Узнаешь? – спросил он.

– О-от-тчасти... – простучал зубами Зотов.

– Очень хорошо, что я тебя встретил! Давно хотел тебе поставить бутылку. Садись!

Зотов полез в машину, нарушая похмельным дыханием великосветский аромат лимузина. Они остановились около дорогого супермаркета, и через несколько минут шофер Шахалина с трудом вынес оттуда десятилитровую бутылку виски, устроенную, как пушка, на специальном лафете с колесиками.

– За что? – ошалел Зотов, даже в самых фантастических мечтах не надевавшийся на такую глобальную опохмелку.

– Как за что? Если б не ты, я бы до сих пор пешком ходил!

«Линкольн» умчался, а Зотов так и остался на тротуаре с пушкообразной бутылкой, точно артиллерист, оставший от своей батареи. Эту историю Башмакову в лицах со знанием дела рассказала Вета. У ее папаши какие-то общие дела с Шахалиным, и виллы их на Кипре стоят рядом. А Гефсиманов-младший еще совсем недавно был советником президента по культуре.

Свои посиделочные концерты Каракозин заканчивал обычно знаменитым «Апельсиновым лесом» – лучшей песней барда Окоемова. Народ подхватывал и пьяным хором, роняя бескорыстные романтические слезы, пел этот гимн застою и свободолюбия, от которого еще и сегодня у Башмакова по спине пробегают глупые ностальгические мурашки. Когда Рыцарь Джедай, сияя влажным взглядом, сокрушал заключительными аккордами гитару, не

только хозяйка Люся, но все лабораторные дамы, включая Нину Андреевну, смотрели на него с восторгом, переходящим в любовь.

Надо сознаться, Башмаков, придя в «Альдебаран», почувствовал, что его неодолимо тянет к Каракозину и что он чуть ли не влюблен в этого остряка и гитариста. Влюблен не в «голубом», конечно, смысле... Как же мы все испортились за последнее время, будто уже и невозможно обычное мужское товарищество! Скоро в гостиницах в номера к мужикам будут подселять исключительно дам, чтобы, не дай бог, что-нибудь не случилось промеж однополыми соседями!

Однако Каракозин с самого начала презирал «Товарища из центра» и любил даже во время застольного пения прикрикнуть на нового заместителя начальника отдела:

– Олег Трутневич, ты не рот открывай, а пой! Это тебе не райком! Или боишься?

Иногда Башмакову казалось, будто в нем подозревают чуть ли не агента КГБ и прозвище «Товарищ из центра» дано ему не случайно. Конечно, никаким осведомителем Олег Трудович не был, хотя Докукин, принимая на работу, и просил его «поприглядывать».

– Совсем оборзели, – пожаловался Михаил Степанович, – я о таких вещах только на рыбалке с проверенным человеком могу поговорить, а они в курилке черт знает что языком мелют! Советскую власть, говорю тебе как коммунист коммунисту, доброта погубит. Доброта. Так что – поприглядывай!

Башмаков в ответ значительно кивнул, но, конечно, ни о каких происшествиях в отделе никогда не рассказывал, да и сам Докукин, кажется, проинструктировал своего протеже только для порядка и давно забыл об этом. Лишь иногда, встретив Башмакова в коридоре и зазвав в кабинет, он начинал по-землячески доверительно жаловаться на институтские сложности и полное непонимание проблем там, наверху:

– Чем выше, тем козлее! В Пизанской башне, Олег, живем. Говорю тебе это как коммунист коммунисту. Скоро пизанемся. Ско-оро! Как там Каракозин?

– Да никак. Как все...

А на самом деле Джедай был лихой мужик: таскал на работу чудовищный самиздат и в открытую пересказывал сообщения Би-би-си о маразме Брежнева, об очередной голодовке ссыльного академика Сахарова, которая выражалась, кажется, в том, что «невольный горьковчанин» отказывался от талонов на колбасу и мясо. Рассказывая все это, Каракозин иной раз с ироническим вызовом поглядывал на Башмакова, а порой даже спрашивал:

– Олег Райкомович, я тебя не шокирую?

Башмаков однажды пытался объяснить и залепетал о том, что в райкоме работают нормальные, честные люди, а не вурдалаки какие-нибудь, хотя, конечно, и такие встречаются. В ответ Каракозин только ухмыльнулся и рассказал анекдот про то, как Брежнев, решив узнать жизнь простого народа, переделался, сбрил брови, пошел в Елисейский гастроном и потребовал икры. Ему выставили банку кабачковой – «заморской». «Эту икру уже кто-то ел!» – поразмышляв, заметил Брежнев. Причем Каракозину удалось замечательно сымитировать дикцию генсека, которому в СССР подчинялось все, кроме его собственной нижней челюсти. (Впоследствии на этом подражании незабвенным «сиськам-масиськам» десятки эстрадных карьеру себе сделали и озолотились.)

Лаборатория захохотала, а Рыцарь Джедай посмотрел на Башмакова с презрительной осведомленностью и добавил снисходительно:

– Олег Трудоустроевич, мы тебе верим! Спи спокойно!

А потом Башмаков попал и вовсе в скверную историю. Он даже на некоторое время сделался в буквальном смысле изгоем. Дело было так. Каракозин принес залохматившийся ксерокс романа «В круге первом». Потайное сочинение выдавалось желающим на одну ночь. Только для Уби Ван Коноби было сделано исключение – он с учетом занятости и очередного конфликта с Р2Д2 получил запретные лохмотья на два дня. Поутру прочитавший приходил в

лабораторию сам не свой – то ли от бессонной ночи, то ли от художественного и нравственного потрясения.

– Ну-у? – сурово спрашивал Каракозин.

Прочитавший обычно только закатывал красные от недосыпа глаза.

– То-то! – констатировал Рыцарь Джедай.

И вот в один прекрасный день, когда в сборе был почти весь коллектив (Уби Ван Коноби зашел в комнату по какой-то руководящей надобности), случилось то, чего Башмаков давно ожидал и к чему внутренне готовился. Но именно в тот момент он расслабился, безмятежно сидел за своим столом и наблюдал в окно воробья, который в большой горбушке хлеба выклевал себе целую нишу и устроился в ней, как в гроте, на отдых. Эта картинка живой природы вдруг напомнила Олегу некий непреложный закон всеобщего существования.

– Будешь? – спросил Каракозин заговорщицки, словно предлагал выпить в рабочее время, и протянул толстую папку. – Завтра отдаю!

Все с интересом замерли, ожидая, как отнесется «Товарищ из центра» к такому предложению. И Башмаков вдруг замялся. Дело в том, что «В круге первом» он читал еще в райкоме: такие книжки часто приносил Гефсиманов. И это лукаво называлось «знать оружие идейного противника».

«Одна сволочь в бане дала почитать», – обычно говорил сын могучего партийного босса.

Более того, Слабинзон сделал с этого романа два ксерокса – себе и Башмакову, а Борис Исаакович, увлекшийся на старости лет переплетным делом, облек копии в алый ледерин. Так что Солженицын стоял у Башмакова на полке между Хемингуэем и Евтушенко. Правда, на всякий случай корешок остался безымянным.

Пауза затягивалась, и Олег Трудович поймал на себе подозрительные взгляды сотрудников, даже Нина Андреевна (а с ней у него к тому времени уже обозначилась взаимная симпатия) сделала обиженно-удивленное лицо. В такой ситуации сказать, что ты уже читал, означало попросту расписаться в трусости, если не в сексотстве.

– Давай!

– На Лубянке население принимают круглосуточно! – подсказал Каракозин.

– Тебе видней, – отпарировал Башмаков.

Когда, упрятав папку в портфель, Олег снова глянул на горбушку, воробья там уже не было – ее ворочал клювом жирный грязно-перламутровый голубь.

– Ну-у? – спросил на следующий день Каракозин, и опять же в присутствии общественности.

– Очень своевременная книга! – ответил Башмаков. – Одно мне непонятно: зачем надо было государственную тайну выдавать?

– Это ты для нас говоришь или для товарища майора? – Рыцарь Джедай таинственно обвел глазами комнату, давая понять, что, вполне возможно, в лаборатории установлены микрофоны.

– Для вас.

– Мы потрясены! Ты хоть «Архипелаг ГУЛАГ» читал?

– Не без этого... – уклончиво ответил Башмаков, слышавший несколько глав по «Голосу Америки».

– Ну и как?

– Нормально. Только атомная бомба тут при чем?

– Олег Тугодумч, ты в самом деле не понимаешь?

– Нет.

– Государство, создавшее ГУЛАГ, не имеет права на атомную бомбу! Понимаешь, не и-ме-ет!

– Может, и так. Но почему же Иннокентий – или как его там? – настучал именно американцам, которые, в отличие от нас, бомбу уже сбросили?!

Тут возникла неловкая пауза, и все посмотрели на Башмакова так странно, будто он пришел на работу в балетной пачке и пуантах. Бадылкин-Чубакка по-оперному кашлянул.

– На Хиросиму? – жалостливо уточнил Каракозин.

– И Нагасаки! – совершенно серьезно, даже с обидой добавил Башмаков.

И все вдруг засмеялись. Нина Андреевна хохотала почему-то громче и обиднее остальных.

– Олег Турандотович, – сурово и веско произнес Рыцарь Джедай, – если ты не понимаешь таких простых вещей, то нам с тобой вообще не о чем говорить!

– Значит, ты... – начал Башмаков.

Он собирался выяснить, готов ли сам Каракозин так же, как солженицынский Иннокентий, сообщить геополитическому противнику какой-нибудь секрет, которыми «Альдебаран» был набит по самое некуда, но осекся, сообразив: такой вопрос нельзя задавать ни в коем случае... Однако смысл незаданного вопроса все поняли – и смех оборвался.

– Ладно, дискуссия окончена! – приказал Уби Ван Коноби и глянул на своего заместителя с грустным удивлением.

И действительно, с ним долгое время вообще не разговаривали, а когда он внезапно входил в комнату, ктонибудь негромко, как в казарме при появлении офицера, предупреждал: «Товарищ из центра», – и все сразу замолкали или переходили на показательно деловой, чаще всего издевательски бессмысленный разговор:

– Товарищ Бадылкин, а что вы думаете о рабочих качествах фильтра ФТО-3683/3?

– Что вам сказать, коллега... Фильтр ФТО3683/3 – это совсем не то, что фильтр ФТО-3683/2.

Впрочем, Чубакка однажды тайком подошел к Олегу Трудовичу и сообщил, что он-то как раз полностью разделяет взгляд Башмакова на омерзительный поступок Иннокентия:

– Государственная тайна – это святое! А Каракозин... Ну ты сам все понимаешь. Я вообще удивляюсь, как его тут держат...

Все знали, что Бадылкин Джедая не любил, особенно после одного действительно жестокого розыгрыша. Чубакка постоянно жаловался на желчный пузырь и даже иногда отказывался выпивать на лабораторных посиделках. И вот однажды Каракозин вскользь сообщил, что у него есть бутылочка чудодейственной воды, заряженной одним магом, которого даже приглашают к пациентам в Четвертое управление. Бадылкин пристал: отлей да отлей! Джедай отлил, но строго предупредил: принимать надо каждый час, не более пяти капель на стакан жидкости – лекарство очень сильное. Нина Андреевна тоже попросила для своего недужного супруга, но ей было решительно отказано.

Чубакка обзавелся специальной пипеткой, каждый час накапывал в стакан и выпивал. Через неделю ему стало лучше. И тогда Каракозин задумчиво сообщил, что этот факт подтверждает одну его давнюю гипотезу.

– Какую? – пристал Бадылкин.

– Понимаешь, – объяснил Каракозин, чудовищным усилием воли сохраняя на лице серьезное выражение, – я считаю, моча после очистки и дистилляции тем не менее на атомарном уровне сохраняет свои лечебные свойства и может быть использована в уринотерапии...

– Ты-ы! – благим басом заорал Чубакка и, зажав обеими руками рот, вылетел из комнаты.

Народ повалился от хохота. Оказалось, Джедай лечил Бадылкина дистиллированной водой, полученной из мочи в соседней лаборатории; из этой воды потом в специальной установке выделялся кислород, пригодный для дыхания. Таким образом, выходил замкнутый цикл, а это очень важно во время длительных космических полетов. Чубакка потом написал доклад-

ную, и Уби Ван Коноби заставил Каракозина извиниться перед пострадавшим, но Бадылкин все же затаил обиду.

Нина Андреевна искренне сочувствовала Башмакову и однажды, когда они остались вдвоем в комнате, взяла его за руку и попросила:

– Знаешь, ты все-таки извинись перед ребятами!

– За что?

– Ты еще не понял?

– Нет, не понял.

– А ты подумай! Я буду ждать, – вздохнула она с обреченностью женщины, полюбившей рецидивиста.

А потом как-то все само собой устаканилось. Началось с того, что однажды Докукин встретил Олега в коридоре и завел к себе в кабинет:

– Про Чеботарева слышал?

Башмаков значительно кивнул, давая понять, что слухи о переходе краснопролетарского партийного лидера вместе с его знаменитой зеленой книжицей на большую работу в ЦК КПСС ему известны.

– В понедельник пленум. Провожать будут...

– Он в орготдел идет?

– Туда. Может, и про меня вспомнит! Как думаешь?

– Обязательно вспомнит.

– Если не сгорит со своим характером. Там, – Докукин показал пальцем в потолок, – прямоходящих не терпят. Говорю тебе это как коммунист коммунисту... Книжки читать любишь?

– А что? – осторожно спросил Башмаков, холодея при мысли, что напряженная духовно-нравственная жизнь лаборатории стала известна начальству.

– Да ничего. Перед пленумом книжная распродажа будет. Для своих. Могу дать пропуск.

– Если можно.

– Бери. – Докукин вытряхнул на стол десяток розовых картонных квадратиков с круглыми гербовыми печатями и витиеватой росписью какого-то ответственного лица. – Ладно, бери два. Куда их девать-то?!

Один из этих квадратиков Башмаков и предложил Каракозину, страстному книжнику, толкавшемуся по выходным среди интеллигентных спекулянтов на Кузнецком Мосту. Иногда на своей старенькой «Победе» вместе с Уби Ван Коноби, тоже библиофилом, Джедай объезжал сельские магазины в поисках дефицитных изданий.

– Представляете, приезжаю в Бронницы, а там «Философией общего дела» целая полка уставлена! Дикари...

К розовому квадратику Джедай поначалу отнесся настороженно:

– В самое логово заманиваешь?

– Как хочешь. Коноби отдам!

– Ладно. Ради хорошей книги я даже в гестапо, к старику Мюллеру на распродажу могу сходить. Давай!

Он брезгливо осмотрел квадратик с райкомовской печатью, пробормотал что-то про уродливость советского герба и спрятал картонку в карман.

– Ну-у? – спросил Башмаков на следующий день после распродажи.

– Охренеть! Теперь я знаю, куда все приличные книги уходят! На двести рублей купил. Обдирают народ как хотят, гниды! Спасибо. Когда коммунык резать будут, я тебя, Олег Другович, спрячу!

Но подлинным триумфом Башмакова, окончательно примирившим его с коллективом, стал концерт барда Окоемова. Олег, выбив деньги в профкоме, организовал это мероприятие с помощью Слабинзона, задружившегося со знаменитым гитареро на почве интереса к анти-

квариату. В самом финале концерта, когда Докукин уже вручал нежногласому барду здоровую модель космической станции, на сцену с «общаковой» гитарой выскочил Каракозин и попросил разрешения исполнить всенародно любимый «Апельсиновый лес», почему-то не включенный автором в программу.

– Я же предупреждал: никакой самодеятельности! – зашипел секретарь парткома Волобуев, предчувствуя недоброе.

– Не волнуйтесь, все будет нормально! – успокоил Башмаков.

Но все было даже не нормально, а восхитительно! Окоемов аж прослезился, когда зал следом за превзошедшим самого себя Каракозиным подхватил:

*Апельсиновый лес был в вечерней росе,
И седой мотылек в твоей черной косе.
И зеленый трамвай прозвенел за рекой,
И луну ты погладила теплой рукой...*

Под овации зала Каракозин исполнил еще несколько песен. В завершение знаменитый бард обнял его, расцеловал и расписался фломастером на «общаковой» гитаре. Довольный Докукин похлопал бледного от торжественного волнения Каракозина по плечу и похвалил:

– Не только делаем ракеты! Знай наших! Молодец!

– Это не я, это все Олег Трудович организовал! – отмахнулся скромный Джедай, впервые произнеся подлинное башмаковское отчество.

– Знаем и ценим! – кивнул секретарь парткома Волобуев.

В общем, Башмаков стал своим. Но главное, он постепенно втянулся в работу, перестроил мозги с аппаратной суеты на науку и придумал оригинальный метод повышения емкости кислородных шашек, которыми восполняется недостаток кислорода на космической станции. Даже скупой на похвалы Уби Ван Коноби, выслушав Олега Трудовича и проверив расчеты, кивнул одобряюще:

– А что? Любопытно!

Но главное, Башмаков перестал с ними спорить. Сначала просто отмалчивался, потом научился отшучиваться, наконец сам принялся искренне поругивать проклятых коммунистов с их трепаным социализмом. Ему даже иногда казалось, будто и его самого выставили из райкома не за икру, а именно по идейным соображениям.

Джедай окончательно признал Башмакова за своего и даже предложил вместе разыграть Чубакку. Они сообщили ему под большим секретом (мол, из райкома позвонили!) о том, что умер Андропов, но об этом объявят только через два дня. Бадылкин преисполнился значения, побежал шептаться и опростоволосился, так как на самом деле Андропов оказался живехонек и умер только через два месяца...

А Нина Андреевна после их самой первой близости шепнула Башмакову нежно:

– Знаешь, я с первого дня не верила, что ты стукач!

– Почему?

– Не знаю, у тебя глаза доброго и пушистого звереныша...

Вообще-то «зверьком», «зверенышем» или «зверем» Нина Андреевна – в зависимости от альковной фазы – называла мужскую атрибутику своего возлюбленного, но иногда именовала так и самого Башмакова в целом. В литературоведении это, кажется, называется «метонимией». Надо бы у Кати спросить...

9

Эскейпер повертел в руках свидетельство о браке и после некоторых раздумий положил его в стопку Катиных документов. В конце концов, вряд ли она будет слишком сопротивляться разводу. На квартиру и все остальное он не претендует. Дашка выросла – сама уж скоро родит. К тому же обещано, что ради развода самому Олегу Трудовичу даже пальчиком шевельнуть не придется. Они с Ветой будут лежать на собственном кусочке пляжа возле теплого моря, а тем временем адвокат все обстряпает.

Башмаков взял стул и достал со шкафа «общаковую» гитару, потертую и кое-где треснувшую. Автограф Окоемова был густо замазан черной краской. Две струны лопнули и завились, как усы мультипликационного кота. Под эту самую «общаковую» гитару Каракозин пел на башмаковской защите специально сочиненную по такому случаю песенку. Вышел и объявил:

– Олегу Триумфовичу посвящается.

Песня была дурацкая, и слова давно забылись, кроме припева:

*Он прибыл супостатом
К нам из райкома вдруг
И вдруг стал кандидатом
Технических наук!*

И уже изрядно поднабравшиеся гости подхватывали хором, отстукивая по столам ритм вилками-ложками:

*И вдруг стал кандидатом
Технических наук!*

На защите Нина Андреевна впервые увидела Катю. В самой защите, кстати, не было ничего торжественного, и напоминала она расширенное производственное совещание, после которого в кафе «Сирень» устроили шумный банкет. Первый тост сказал Докукин. Он горячо и сердечно поздравил Олега с получением степени, а советскую науку – с приобретением перспективного ученого. Остальные тосты были вариациями на эту тему, мол, кандидатская есть, теперь давай докторскую! Правда, в застольных перешептываниях мелькала мысль и о том, что если бы не Докукин, черта с два соискателя допустили бы к защите с таким сырым материалом и одними лишь депонированными статьями. Даже странно, что ему не кинули ни одного черного шара. Впрочем, тогда – под «Буран» – защитилось довольно много народу, даже те, кто при других обстоятельствах никогда бы не «остепенился». Чубакка, например.

Секретарь парткома Волобуев, шевелюристый мужчинка на высоких каблуках, посвятил свой пятнадцатиминутный тост неоценимому вкладу, каковой талантливый общественник Башмаков вносит в жизнь парторганизации НПО «Старт». И только галантный Уби Ван Коноби провозгласил тост за жену новоиспеченного кандидата, ибо муж и жена не только одна сатана, но еще и как бы соавторы, единая научно-исследовательская группа.

В самом конце торжества к ним подошла захмелевшая Нина Андреевна в черном бесформенном платье, наподобие тех, что носила в ту пору Алла Пугачева:

– Олег Трудович, познакомьте меня с вашим соавтором!

– Это Нина Андреевна Чернецкая. В нее влюблены все мужчины нашего отдела...

– Включая тебя? – спросила Катя, казалось, потерявшая из-за обилия комплиментов всякую бдительность.

– Разумеется! – И Башмаков, чтобы уж наверняка обезопасить себя, обнял и поцеловал любовницу в щеку.

– У вас замечательный муж! – отстранившись, воскликнула Нина Андреевна. – Он, наверное, еще и очень хозяйственный, все по дому делает и поливает цветы?

– Какие цветы? У нас нет цветов... – удивилась Катя.

– Как же вы живете без цветов? Это очень скучно!

Чернецкая глянула на Башмакова с прощальным недоумением, точно он страшно обманывал ее, а теперь вот ложь и вскрылась.

– Странная дама, – подозрительно заметила Катя, наблюдая, как Нина Андреевна безумствует со старомодно грациозным Уби Ван Коноби в почти акробатическом танго.

Но в это время над столиком навис пошатывающийся Докукин и пригласил Катю на танец.

– Жена у тебя, Башмаков, просто конфитюр. Конфи-тюр! Говорю тебе это как коммунист коммунисту, – шепнул он, уходя, и поцеловал кандидата технических наук в глаз.

В самом конце вечера Чернецкая начала так громко хохотать, что благородный Рыцарь Джедай увез ее домой на своей красной «Победе».

Техник первой категории Нина Андреевна Чернецкая, полненькая шатенка со скорбно-чувственным ртом, понравилась Башмакову с первого же дня работы в «Альдебаране». Ей было тридцать, но выглядела она, как сама же любила пошутить, на двадцать девять. Некогда Нина Андреевна обучалась в художественной школе, что по соседству с Третьяковкой, и собиралась стать архитектором, но на вступительных экзаменах в институт провалилась, получив двойку за рисунок. Когда она явилась за объяснениями в приемную комиссию, профессор кафедры рисунка, потрясая ватманом и тыча пальцем в изображенную на нем голову Аполлона, спросил:

– Это, по-вашему, гипс?

– Гипс... – пролепетала абитуриентка.

– Нет-с, милочка, это – чугун!

Целый год Нина боролась с чугуном, посещая подготовительные курсы и беря частные уроки у бородатого художника – одного из героев знаменитой бульдозерной выставки. Его натюрморт, изображавший виноградоподобную гроздь человеческих глаз, попал под гусеницы одним из первых и таким образом прославил автора. Художник никогда, даже направляясь в душ, не снимал свой черный берет. Он хвалил работы юной ученицы и гарантировал ей поступление в архитектурный, называя строгих экзаменаторов «петьками» и «кольками». Он и лишил ее невинности, между делом объясняя архетипический смысл нефигуративной живописи. Некоторое время Нина, уйдя из дому, состояла при нем подругой и натурщицей, разинув рот, слушала шумные споры собиравшейся в его мастерской богемы, где самыми бранными словами были «реализм» и «Глазунов».

Через год, как раз накануне новых вступительных экзаменов, она ему вдруг надоела, и мэтр попытался передать ее, как эстафету, ответственному работнику художественного фонда, ведавшему продажей произведений искусства предприятиям и организациям. Тот взамен обещал выгодный заказ на большое панно «Русь колхозная» для Дворца культуры совхоза-миллионера. Наставник подстроил так, чтобы Нина осталась в мастерской наедине с этим деятелем из фонда, но Чернецкая, возмущенная приставаниями, расколотила о голову ответственного искусствоведа здоровенный подрамник. Вышвыривая Нину из мастерской, герой бульдозерной выставки кричал, что никогда она не избавится от своего чугуна и самое лучшее для нее – навсегда забыть об архитектуре и, учитывая ее архаическое отношение к сексу, близко не подходить к людям искусства.

Чернецкая впала в нервную депрессию, сожгла все свои рисунки, а через год поступила в химико-технологический институт, где проректором работал друг ее отца. В стройотряде

она познакомилась со скромным пареньком, учившимся на параллельном потоке и никогда не принимавшим участия в шумных и бестолковых студенческих спорах у костра, когда главное – не докопаться до истины, а просто выкричатся. И если речь заходила о чем-нибудь изящном, Тарковском например, он просто молча вставал и уходил.

В Нину парень влюбился так, как влюбляются в обложку журнала с портретом заграничной кинозвезды – Катрин Денев или Роми Шнайдер, – трепетно и безнадежно. Ее это забавляло, он ей почти не нравился, но однажды ей захотелось совершить чудо – стать Катрин Денев и прямо с журнальной обложки сойти в объятия тихого, скромного, неприметного паренька. Но то, что она принимала за скромность, оказалось скрытностью: муж считал себя гением и писал прозу под Кафку. Про все это Башмаков узнал от Нины во время долгих и замысловатых разговоров о жизни, которыми тонкие женщины обыкновенно пытаются облагородить возвратно-поступательную убогость соития.

С прежних, богемных времен Чернецкая сохранила художественную манеру одеваться в широкие затейливые одежды и носить необычные кулоны, браслеты, серьги авторской работы – серебряные, кожаные и даже деревянные. Она покупала их в художественном салоне на «Октябрьской». Впрочем, образ жизни Нина Андреевна вела совсем даже не богемный – вечно торопилась в детский сад за сыном Ромой и постоянно прислушивалась к разговорам о нетрадиционных методах лечения: ее муж, работавший в заводской многотиражке, а ночами стучавший на машинке, производя в основном горы окурков, обладал редким букетом хронических заболеваний.

Собственно, сближение с Ниной Андреевной и началось с того, что Олег Трудович посоветовал ей вычитанный в «Науке и жизни» метод дыхания по Бутейко. Муж, погибавший весной от приступов астмы, ожил, и Нина Андреевна впервые одарила Башмакова улыбкой, в которой кроме благодарности мелькнула еще и женская приязнь. Однако когда во время очередного торжества на квартире у Люси Башмаков попытался завести с Чернецкой нежно-разведывательную беседу, она холодно посмотрела на него и расхохоталась обидным смехом несовратимо верной жены.

Лишь на второй год их знакомства, после очередных бурных восьмимартовских посиделок, когда все были так веселы, что Уби Ван Коноби трижды делал свою знаменитую стойку, она вдруг разрешила Башмакову проводить себя домой. Уже в метро Нина вдруг вспомнила, что ей нужно полить цветы в квартире уехавшей в командировку подруги. Их соединение, начавшееся прямо в прихожей, было бурным и многообразным. Единственное, пожалуй, чего они не сделали, – так это не полили цветы. Потом, на остановке возле ее дома, прощаясь, они долго не могли нацеловаться. Но когда на следующий день Башмаков, трепеща от чувства незавершенного сладострастия, уже по-свойски подкатил к Нине Андреевне, она посмотрела на него с ледяным недоумением королевы, которую вдруг посмел беспокоить вызванный по надобности придворный сантехник.

В течение двух месяцев Чернецкая вела себя так, словно между ними вообще ничего не было и быть не могло. Башмаков уже начал склоняться к мысли, что стал жертвой одноразового бабьего каприза. Но вдруг во время майских посиделок Нина Андреевна, рассуждая о вырождении труппы «Таганки», коснулась под столом башмаковского колена. А потом, выслушивая гневную отповедь таганского фаната Каракозина, горячо поддержанную Люсей, она шепнула Башмакову на ухо, что собирается сегодня полить у подруги цветы.

Полив цветов происходил довольно редко и, как правило, приурочивался к праздничным посиделкам. Но как-то раз любовники задержались на работе допоздна, заперлись в лаборатории, жадно целовались, и после долгих уговоров Башмаков, сметая канцелярские принадлежности, завладел Ниной Андреевной прямо на своем широком замзавотдельском столе. На следующий день Чернецкая отводила от стола глаза, краснела и вообще старалась не смотреть в

сторону этого двухтумбового ложа любви. Больше она никогда не уступала Башмакову в лабораторных условиях.

Зато вскоре ее мужа положили в больницу на обследование. Сын Рома уехал в пионерский лагерь. И они поливали цветы каждый вечер в течение целой недели. Башмакову пришлось соврать Кате, будто в лаборатории проходят стендовые испытания. Жена на это заметила, что, оказывается, в научных учреждениях такой же антисемейно-ненормированный рабочий день, как и в райкомах, а в результате Олег Трудович от переутомления плохо выглядит.

Еще бы! К концу этой «страстной» недели Башмаков чувствовал себя совершенно опустошенным, да и Нина Андреевна была полуживой. От женского восторга она обычно рыдала в голос и даже иногда могла потерять сознание, о чем честно в самом начале их связи предупредила любовника. В последний день, накануне выписки мужа из больницы, они просто решили отдохнуть в постели. Отдыха, конечно, не получилось...

– Звереныш, а знаешь, чего я хочу? – спросила она, склонившись над ним и умиротворенно поглаживая волосатую башмаковскую грудь.

– Чего?

– Я хочу от тебя ребенка!

– Только ребенка?

– Нет, еще я хочу за тебя замуж. Подумай об этом!

– Думаю...

– Нам ведь будет хорошо вместе! Даже звезды это подтверждают...

– В каком смысле?

– Ты – Телец. А знаешь, с кем у Тельца самый счастливый союз?

– С кем?

– С Девой! Со мной, глупенький! А ты будешь хорошо относиться к Роме? Ты знаешь, он чувствует каждый раз, когда я возвращаюсь от тебя. Даже ревнует и капризничает...

– Ты серьезно?

– А ты хочешь, чтобы все это, – она указала на свое темное остывающее лоно, – было несерьезно?

– А муж?! – невольно воскликнул Башмаков, и на его лице с глупой достоверностью отразился весь ужас перед возможными непредсказуемостями.

– Испугался? – засмеялась Нина Андреевна. – Не переживай – муж выписывается из больницы. Ему стало гораздо лучше. И у него новый роман... в новеллах.

Возвращаясь домой после встреч с любовницей, Олег Трудович обыкновенно напускал на себя деловитую сумрачность, чтобы не выдать радостную утомленность плоти и счастливый сквознячок в сердце. А ложась в супружескую постель, всегда демонстрировал дежурный интерес к жене, почти никогда не вызывавший ответного отклика, а в лучшем случае вопрос:

– Замотался?

– Угу.

– Я тоже как собака. Тунеядыч, давай не сегодня... У меня завтра городская контрольная.

– Кать, а ты кто у нас по знаку?

– Да ну тебя к черту!

За годы работы в школе у Кати, все еще худенькой, как девочка, начал выработываться особый стиль классной дамы – четкие, почти военные движения, командный, с обязательной недовольной интонацией голос и профессионально-укоризненный взгляд, способный довести до слез даже закоренелого двоечника-хулигана. В первые годы Катя, окончив занятия, снимала эту преподавательскую шкурку, вешала на гвоздик где-нибудь в учительской и шла домой трепетная, беззащитная, готовая плакать по ночам от каждой башмаковской пакости. Со временем шкурка приросла к телу и загрубела.

В первые, достаточно медовые годы у них с Катей все было хорошо и даже имелась такая игра: утомленная, но не насытившаяся Катя задумчиво спрашивала:

– Ну, кто еще хочет учительского тела?

– Я! – объявлял Башмаков: после многолетних «недолетных» страхов он страшно возгордился своей безотказностью.

– А как же нам разбудить спящего царевича?

– Точно так же, как разбудили царевну!

И разбуженный царевич совершал чудеса, а в привычных, почти рутинных движениях обретался вдруг восторг неземных судорог. Потом восторг постепенно превратился в заученное удовольствие, а еще некоторое время спустя лежащее рядом учительское тело стало вызывать в лучшем случае нежное равнодушие.

Восторг вернулся только с Ниной Андреевной. Башмаков все чаще стал сравнивать Катю с любовницей, и, надо сказать, не в пользу жены. Когда они с Катей ссорились из-за ерунды – невымытой посуды или Дашкиных проказ, – Олег Трудович садился перед телевизором и начинал представлять себе, как однажды на глазах рыдающей Кати он соберет вещи, поедет к Нине Андреевне; позвонит в дверь, и та бросится ему на шею:

– Звереныш!

Ее муж как-то выпадал из всех этих умопостроений. Месяца через два после того памятного разговора о ребенке Нина Андреевна заболела и не появлялась на работе четыре дня, а когда появилась, похудевшая и побледневшая, Башмаков повел ее в обеденный перерыв в беседку возле Доски почета и спросил:

– Что случилось?

– Ничего особенного. Муж не захотел второго ребенка.

– Ты?.. – опешил Башмаков.

– Нет – ты! – с ненавистью ответила она.

После этого разговора они не поливали цветы полгода. Эту полугодовую размолвку в лаборатории, конечно, заметили. Даже Уби Ван Коноби зазвал как-то Башмакова к себе в кабинет и после некоторой заминки попросил:

– Олег Трудович, вы уж как-нибудь поласковее с Ниной Андреевной. Все-таки у нее муж-инвалид...

А потом все вернулось, хотя, конечно, вернулось не все, несмотря на то что Нина Андреевна, плача на груди Башмакова, обещала ждать до конца жизни, когда бы он ни решился. Он даже жалел, что Катя больше не выгоняет его из дому. Тогда все было бы проще. Тогда второй побег давно бы удался и не было бы, наверное, никакой Веты.

Если бы да кабы...

10

Эскейпер подошел к книжным полкам, развешанным по стене в шахматном порядке. Это была идея жены: таким образом получались ниши, куда можно было поместить большие альбомы, керамику, сувениры и прочую украшательскую никчемность. Две ниши были заполнены Катиной коллекцией гжели. Она начала собирать эти ультрамариновые фигурки, вазочки, розеточки давным-давно, после того, как свозила класс на экскурсию в Гжель. В школе скоро провели об этом увлечении – и коллеги, но особенно родители, зная Катину строгость, стали к праздникам и просто так, от полноты душевной, делать взносы в ее коллекцию. Мерзавец Вадим Семенович подарил Кате свое ультрамариновое сердце на подставке, пронзенное золотой стрелой. К пятнадцатилетию педагогической деятельности ей преподнесли большой, размером с трехлитровую банку, фаянсовый самовар, увенчанный самостоятельным заварным чайничком и укомплектованный шестью гжельскими чашечками на блюдцах, а в чашках – маленькие золоченые ложечки. Башмаков к двадцатилетию свадьбы, учитывая профессиональные интересы супруги, вручил Кате фаянсовую иллюстрацию к «Евгению Онегину» под названием «Раненый Ленский»: молодой бакенбардистый мужчина полулежит на ультрамариновом снегу, с грустью глядя на выпавший из его руки «наган».

– Идиоты, – молвила Катя, с благодарностью принимая подарок. – Онегин же убил Ленского наповал!

Сначала Башмаков не хотел брать с собой на Кипр никаких книг, но потом просто так, на память, решил прихватить тот некогда запретный роман «В круге первом». Его безымянный корешок торчал теперь меж томами богатого собрания сочинений, выпущенного специально к возвращению Солженицына в Россию. Заодно Олег Трудович снял с полки и самиздатовский сборник песен Высоцкого.

Этот самопальный томик появился на свет благодаря свадьбе убежденного холостяка Каракозина, утверждавшего, что никогда не женится, ибо уже женат на горных лыжах. Джедай даже приторговывал на Кузнецком Мосту добытым в сельских магазинчиках книжным дефицитом и подрабатывал обивкой дверей в новостройках, чтобы скопить деньги для очередной поездки на Домбай. Оттуда он возвращался загорелый, бодрый и рассказывал в мужском кругу об очередной победе над женой или дочкой какого-нибудь партийно-советского крупняка. Таким образом он, кажется, сводил счеты с советской властью. Все эти выхоленные особи еле стояли на горных лыжах и потому легко падали в объятия мастерски катавшегося Джедая.

Впрочем, Каракозин совсем даже не был бабником, хотя по лабораторному телефону, к неудовольствию Люси, его постоянно спрашивали разнообразные женские голоса, и он, конечно, соглашался на свидания, но с видом сельского доктора, вынужденного, в силу клятвы Гиппократова, ехать к пациентке за двадцать верст в пургу. Однако если была срочная работа, шахматный турнир или ему кто-то на ночь давал очередной самиздат, Джедай мог совершенно спокойно сказать, что занят или даже попросту не в настроении.

И вот тут-то появилась она – молодая специалистка Олеся, распределенная после окончания института в «Альдебаран». В первый же день по сложившейся традиции девушка получила прозвище из «Звездных войн» – Принцесса Лея. Когда она вошла в кабинет Уби Ван Коноби, тот от неожиданности поверх очков для чтения нацепил еще одни – для дали.

Олеся и в самом деле напоминала принцессу, особенно из-за легкой до надменности походки. Такая походка иногда бывает у девочек, которых бабушки честно и упорно после школы таскают в секцию художественной гимнастики. Притащат и терпеливо сидят в вестибюле с шубкой на коленях, воображая, как их кровиночка на международных соревнованиях будет скользить между трепещущими извивами ленты, а потом, под заключительные звуки «Песни Сольвейг», падет и закроется, словно бутон, чтобы вновь улыбочиво расцвести, когда

стотысячный стадион взорвется овациями и члены жюри заплачут, побросав от восторга свои дощечки с оценками.

Принцесса стриглась под мальчика, глаза у нее были нежно-голубые, как утреннее море, а губы лукаво-капризные. Когда она, высокая, стройная, в облегающей водолазке и тугих настоящих американских джинсах, шла по коридорам «Альдебарана», мужчины оборачивались, точно флюгера при резкой смене ветра. Башмаков сначала никак не мог сообразить, кого же она ему напоминает, а потом однажды, увидав ее, стремительно и надменно идущую по коридору, понял: Олеся похожа на морскую деву, резную богиню, венчающую нос стремительно несущейся каравеллы.

В довершение всего Принцесса была умна, язвительна и недоступна, как царская регалия под пуленепробиваемым музейным колпаком.

– А сознайся, звереныш, – спросила однажды Нина Андреевна, – тебе нравится Принцесса?

– С чего ты взяла?

– Ты снова стал гладить брюки!

– Ну ты же знаешь, мне, кроме тебя, никто не нужен...

– Даже жена?

– Ты же обещала больше об этом пока не говорить!

– Прости, но не думать об этом я тебе не обещала...

Конечно, Принцесса нравилась Башмакову. Да что там говорить, даже Уби Ван Коноби потерял свою седую голову! Теперь он присутствовал на каждом посиделках и делал стойку на руках, не дождавшись, пока его об этом попросят. Он постоянно приглашал девушку в свой кабинет, рассказывал про то, как выиграл товарищеский матч по теннису у призера Олимпиады, сумками таскал ей книги из своей знаменитой библиотеки, хотя до этого не выпускал книжек из дома, потому что возвращают их обычно с загнутыми страницами и следами жирных пальцев. Лея принимала эти пожилые ухаживания с восхитительной смесью почтения и насмешливости.

С Каракозиным же творилось невероятное: он отказался от ежегодной поездки на Домбай. Зная, что Принцесса обожает Большой театр, он свел там какое-то книжное знакомство – и теперь у него постоянно были самые недоставаемые билеты. А на день рождения, про который он разведal в отделе кадров, влюбленный Джедай подарил Олеся какие-то безумные духи, стоившие, если верить перешептываниям лабораторных дам, чуть не целую зарплату. Во время праздничных посиделок он устраивал настоящие концерты и пел с душераздирающей нежностью:

*Ты у меня одна,
Словно в ночи луна...*

Впрочем, посиделки вскоре закончились, потому что Люся, не выдержав этого зрелища, переехала в филиал «Альдебарана», в Подлипки.

Поначалу Каракозин каждый день отвозил Принцессу после работы домой, а потом, очень скоро, стал уже и привозить, подавая машину к подъезду, хотя жил в противоположном конце Москвы. Женатый Уби Ван Коноби, вынужденный подбрасывать свою супругу на службу, такого позволить себе не мог и сошел с дистанции.

У Каракозина была старая-престарая «Победа» пожарно-красного цвета, купленная им за бесценок и восстановленная в дворово-домашних условиях. Машина напоминала огромную божью коровку. Сходство усугублялось тем, что ее покрывали темные пятна незакрашенной шпатлевки. Вдруг Джедай, утверждавший прежде, что в машине самое главное колеса и мотор,

выкрасил «Победу» в еще более красный цвет, оснастил бампером от какой-то иномарки, навешал дополнительных фар и зеркал, а сиденья покрыл леопардовыми пледами.

Автомобили были у многих альдебаранцев, в основном «Жигули», приобретенные по очереди, двигавшейся довольно медленно. Сам Башмаков подал заявление в профком буквально на следующий день после поступления на работу, чтобы к тому времени, когда подойдет его очередь, скопить требуемую сумму. Остальные поступали точно так же. Это чем-то напоминало обычай позапрошлого века записывать детишек в полк младенцами, чтобы годам к шестнадцати отпрыск был офицером.

После работы Каракозин, выйдя из подъезда, решительно влек Принцессу к своей «Победе», выделявшейся в ряду припаркованных «жигулят», как тропическая птица на курином насесте. Лея обычно захохатывала и начинала громко шутить по поводу «божьей коровки», чтобы случившиеся поблизости сотрудники понимали: даже Принцесса иной раз может прокатиться ради смеха на навозной телеге, если кареты ей поднадоели.

На самом деле карет никаких не наблюдалось, хотя Каракозину и было вскользь сообщено о некоем настойчивом и положительном соискателе, собиравшемся на работу за границу. Джедай чуть не сошел с ума и даже несколько раз, когда ему было отказано в свидании, продежурил в кустах возле Принцессиноного блочного замка, но соперника так и не обнаружил.

Как-то, зайдя во время обеда в лабораторию, Башмаков застал их целующимися. Олега Трудовича поразило то, что в позе Принцессы была какая-то насмешливая снисходительность и, лобзаясь, она нетерпеливо постукивала тонкими пальчиками по плечу Каракозина. На скрип двери она открыла глаза и заговорщицки подмигнула Башмакову.

В один прекрасный день все сотрудники обнаружили на своих столах глянцевые приглашения с золотыми тисненными колечками. Уби Ван Коноби подарил молодым на свадьбу набранные на компьютере и скрепленные импортным скоросшивателем стихи Высоцкого. Но во время посиделок в кафе «Сирень», посвященных предстоящему бракосочетанию, наотрез отказался делать стойку на руках. Правда, на регистрацию в загс, в отличие от Нины Андреевны, сказавшейся больной, он все-таки явился, причем вместе с супругой, похожей на пожилую билетершу из кинотеатра. Башмаковы тоже присутствовали, и Олег Трудович был даже свидетелем со стороны жениха. Потом гуляли в «Будапеште». Поговаривали, что на это гульбище Джедай ухлопал все свои сбережения.

На следующий день молодые с двумя парами горных лыж, огромным рюкзаком и «общаковой» гитарой уехали в аэропорт и улетели на Домбай. Вернулись они загорелые, счастливые и ходили повсюду, взявшись за руки, то и дело обмениваясь взглядами, полными совместных трепетных тайн. Нина Андреевна попросила у них на несколько дней подаренного Высоцкого, перепечатала дома на машинке и переплела в мастерской в светло-серый ледерин. На обложке томика она нарисовала цветущий кактус в горшочке, над ним лейку со струйками воды, а на фронтисписе изобразила портрет бессмертного барда с гитарой. Высоцкий был очень похож, но лицо и в самом деле выглядело чуть-чуть чугунным. Башмаков, получивший томик в подарок к очередному дню рождения, часто его перечитывал и всякий раз поражался одной особенностью: те стихи, которые он слышал в хриплом авторском исполнении, вызывали у него неизменный священный восторг, а те, что в песенном варианте ему узнать не довелось, производили странное впечатление темпераментной беспомощности...

Через положенное время – не раньше – Принцесса ушла в декрет. Однажды Башмаков, выбежав в обеденный перерыв за покупками, увидел ее на стоянке возле пожарной «Победы». Живот у Леи был огромный, и она особенным выражением подурневшего лица утверждала полное свое отчуждение от этой чудовишной превратности женской судьбы. Увидав Олега Трудовича, Принцесса просто отвернулась.

Вскоре у Каракозиных родился мальчик, которому присвоили имя Андрон. Принцесса в «Альдебаран» уже не вернулась и стала домохозяйкой, что по тем советским временам было

большой редкостью. Рыцарь забросил горные лыжи и книжную толкучку. Почти каждый день на своей «Победе» он отправлялся обивать двери, а в отпуск шабашил, строя садовые домики, – тогда вдруг всем стали давать по шесть соток.

Петр Никифорович получил участок под Софрино и долго соображал, как возвести то, что хочется, и при этом не выйти за установленные законом тридцать шесть квадратных метров застройки. В результате он воздвиг трехэтажную башенку с огромным бетонированным подвалом, где в случае атомной тревоги могло спрятаться население всего огородного товарищества, а вместо хозблока соорудил русскую баню, куда охотно навевались лучшие представители советской творческой интеллигенции. Охранял дачу выросший и заматеревший двортерьер Маугли – он с бешеным лаем кидался навстречу каждому открывавшему калитку, чтобы в тот момент, когда вошедший уже прощался с жизнью, подпрыгнуть и дружески лизнуть незнакомца в лицо.

Зинаида Ивановна буйно помешалась на огородничестве. Когда однажды, приехав в субботу на участок, она обнаружила, что огуречная рассада, заботливо преданная земле накануне, уничтожена необъявленными заморозками, ей сделалось плохо, и пришлось срочно вызывать врача, огородничавшего по соседству. Со временем она стала такой специалисткой, что к ней приезжала съемочная группа телепрограммы «Во саду ли, в огороде» (ведущему передачи Петр Никифорович пособил югославскими моющимися обоями), и она гордо демонстрировала свои кабачки размером с небольшие дирижабли и баклажаны величиной с минометные снаряды.

Каждую весну Башмаков вызывался на перекопку участка и, проклиная все на свете, перелопачивал тяжелую глинистую землю, выбирая из нее неискоренимые, как сама жизнь, сорняки. А теща, точно надсмотрщик, ходила вокруг, приглядывала и давала указания:

– Глубже бери, на штык бери, а дерн сразу обрубай! Ничего-ничего... На шестнадцатом участке муж с женой – оба доктора наук, а копают как миленькие!

Петр Никифорович тем временем, словно терпеливый ослик, на тележке возил навоз с фермы, расположившейся в двух километрах и при соответствующем ветре одаривавшей поселок классическими деревенскими ароматами. Катя обычно перебирала и замачивала семена для посадки, а Дашка стерегла Маугли, чтобы тот не бегал в грядки. Когда же, сидя на веранде, они обедали, Зинаида Ивановна любила настоять:

– Ну-ка, Олег, съешь вот эту редисочку! А теперь вот эту. Чувствуешь разницу?

– Вроде – да... – подтверждал Башмаков, ничего на самом деле не чувствуя.

– Еще бы! Эта – на коровьем навозе, а та – на курином помете...

С середины лета начинали варить варенье – сначала клубничное и малиновое, а позже, когда сад разросся, – вишневое, сливовое, крыжовенное, яблочное, мариновали грибы, солили огурцы, закатывали в банки помидоры и патиссоны, готовили специальную домашнюю кабачковую икру.

– Зима все съест! – говаривала теща.

Заезжал попариться между заграникомандировками и Нашумевший Поэт. Охлестываясь березовым веничком с крапивцей, он очень ругал советскую власть и жаловался на цензуру, которая заставила его убрать из новой книги посвящение «Николаю Гумилеву» и поставить унижительное «Н.Г.». Еще он как-то доверительно сообщил, что недавно читал стихи на даче Черненко – и тот очень плох.

Эту же информацию выслушал по «голосам» Джедай. Он, как ветхозаветный пророк, бродил по лабораториям и бубнил про скорый конец власти маразматиков. Ему сочувствовали: ученый совет задробил тему каракозинской диссертации. Вот оно, может, и к лучшему – писать Джедаю все равно было некогда: Рыцарь зарабатывал Принцессе на королевскую жизнь.

Во время отпуска, по иронии судьбы, он шабашил в том же самом поселке, поблизости от дачи Петра Никифоровича. Иногда Каракозин заходил на чаек и с осуждением разглядывал

строение – особенно ему не нравилось, как положен шифер. Впрочем, Башмаков еще ни разу не встречал шабашника, который бы похвалил работу другого.

Несмотря на приличные заработки, Джедай попережнему являлся на работу в своем добела уже вытершемся джинсовом костюме. Зато если кто-нибудь из лабораторных дам приносил какую-нибудь купленную по знакомству или привезенную из-за бугра тряпицу, Рыцарь бросался на нее, как коршун, прикидывал размер и тут же звонил Принцессе, расписывал достоинства обновки, убеждая, что нужно купить непременно. Многоопытные лабораторные дамы только качали головами.

Связь Башмакова с Ниной Андреевной продолжалась, и хотя речь о совместной жизни больше не заходила, тем не менее этот вопрос всегда читался в ее печальных глазах. Когда, после любви, она склонялась над недвижимым Башмаковым, никчемным, как отработавший ракетный ускоритель, и спрашивала: «Тебе хорошо?» – в вопросе всегда содержался намек и на то, что, когда они будут совсем вместе, станет еще лучше.

Однажды она принесла толстую папку с первой частью романа, который писал ее супруг, и попросила Олега Трудовича показать рукопись Нашумевшему Поэту (об этом знакомстве Башмаков имел неосторожность ей рассказать). Сначала он решил сам ознакомиться с произведением – и чтение напоминало рытье бесконечной канавы, когда, чтобы как-то развеяться, приходится намечать себе вехи: вон до того куста, до той кочки и так далее – до горизонта. Сочинение представляло собой внутренний монолог патриарха Ноя, строящего свой ковчег на Красной площади, а также его философские диалоги с солдатами из почетного караула, оберегающего Мавзолей Ленина. Башмаков ничего не понял, но приписал это своей неискренности в вопросах изящной словесности. Однако и приговор Нашумевшего Поэта оказался суровым: графомания в особо крупных размерах. Башмаков честно сообщил Нине Андреевне, ссылаясь на мнение специалистов, что роман замечательный, но время его еще не пришло и придет не скоро. Услыхав это, Каракозин, которому Олег Трудович тоже тайком дал роман на пару днейков, назвал его Олегом Трусовичем.

Тем временем Катя (то ли что-то заподозрив, то ли просто возраст подошел) вдруг страстно захотела второго ребенка. Любопытно, что Башмаков, так до конца еще и не отказавшийся от мысли соединиться когда-нибудь с Ниной Андреевной, тем не менее радостно эту идею подхватил – даже месяц не брал в рот спиртного и неделю голодал по Брэггу, чтобы очистить организм и дать полноценное потомство. Он твердо решил, что второго ребенка они будут воспитывать иначе, по всем правилам современной науки, и даже несколько раз заставлял беременную Катю слушать Чайковского, с тем чтобы плод эстетически развивался с самого начала. Все шло хорошо, уже придумали имя: Александр – если мальчик, Елена – если девочка. Олег купил по случаю у лабораторных теток очаровательный детский комбинезончик, точнее, попросил это сделать Каракозина, а то Нина Андреевна догадалась бы.

– Умеют же делать! – восхищался Рыцарь Джедай, с сожалением отдавая вещицу. – Не то что мы, косорукие!

Но ничего у Кати не получилось: она поехала с классом в автобусную экскурсию по Золотому кольцу, и от тряски у нее случился выкидыш, после чего врачи посоветовали более не рисковать, ссылаясь на некие анатомические неудобья. Катя страшно расстроилась. Дашка очень ждала появления братика-сестренки, даже заранее провела тщательный смотр своих игрушек, отобрав те, что уже можно отдать новорожденному, и те, что пока ей и самой необходимы. Вернувшись однажды с работы, Башмаков застал ее плачущей над большим плюшевым кенгуру. Из сумки высовывался еще и черноглазый бархатный детеныш.

– Ты что?

– Жа-алко, ребеночек Куньку порвет...

– Не порвет. Он же будет меньше Куньки.

– А когда вырастет, все равно порвет!

Эту игрушку Олег привез Дашке из Австралии, куда, работая в райкоме, летал на встречу с тамошней социалистической молодежью, странными ребятами, ездившими на невиданных японских машинах и трящимися от восторга над значком с изображением Ленина. А одна местная активистка, довольно страшенькая, которую Башмаков из любви ко всему импортному старался вовлечь в интим, перед тем как деловито отдаться, спросила на ломаном русском:

– Ты... э-э... подарить для меня Ленин?

– Yes!

Потом они лежали в палатке, и Башмаков думал о том, к чему со временем пришли многие его соотечественники: импортное не значит лучшее. А девушка упоенно разглядывала звездочку с кудрявым мальчиком Лениным.

11

Эскейпер вдруг почувствовал запоздалую вину перед Катей за ту глупую забугорную измену, вину такую тяжкую, такую непрощаемую, словно был тот мимоезжий кобеляж первым и последним, словно не готовился он в эти минуты к побегу с юной любовницей и словно бы сама супруга, его вековечная Екатерина Петровна, так и осталась чистейшим внутрисемейным ангелом и не попался на ее пути великий и могучий борец за личное счастье Вадим Семенович.

Башмаков вздохнул и отправился в бывшую комнату дочери, так и не ставшую гостиной, чтобы в последний раз посмотреть на Куньку. Плюшевая австралийская игрушка, испытывавшая на себе все превратности становления непростого характера своей хозяйки, давно уже обтрепалась и лишилась хвоста. Дашка доказывала подружке, что кенгуру в минуты опасности, как ящерица, отбрасывает хвост, и доказала. Теперь Кунька напоминала странноватого короткоухого пегого зайца, к замызганной груди которого приколоты медаль «За оборону Белого дома». Зато детеныш в надорванной сумке все еще оставался чистеньким и умильно бархатистым. На шее кенгуренка висел наподобие талисмана квадратный кусочек клеенки морковного цвета с фиолетовыми буквами:

Башмакова Екатерина Петровна
Дев. 23.10. 78

Этот квадратик был привязан к Дашкиному запястью еще в роддоме и обнаружился, когда Катя, забрав дочь из неловких мужниных рук, распеленала ее. Олег в ту минуту смотрел на младенца и недоумевал – неужели когда-нибудь из этой сморщенной попискивающей человеческой личинки вырастет подлинная женщина, способная к любви и продолжению рода?

- А это для чего еще? – спросил он, показав на оранжевый квадратик.
- А это, Тапочкин, для того, чтобы тебе чужую дочь не пришлось воспитывать.
- А ты уверена, это точно наша? – мнительно улыбнулся Башмаков.
- В том, что моя, уверена точно! – засмеялась Катя.

Верные, не помышляющие ни о каких помимосемейных радостях женщины иногда могут позволить себе подобные шутки. Как-то папаша одного ученика преподнес Кате привезенные из северной командировки оленьи рога. Она приложила их к башмаковскому темени и элегически молвила:

- А что, тебе бы пошло!

После Вадима Семеновича она больше никогда так не шутила...

Роддомовский оранжевый квадратик потом надолго куда-то затерялся, но однажды, сравнительно недавно, разыскивая запропастившуюся квитанцию химчистки, Катя обнаружила его, очень обрадовалась и повесила на шею кенгуренку.

– Между прочим, ты была размером не больше! – сообщила она дочери. – Такая чистенькая и хорошенькая...

– И без прыщей! – вздохнула Дашка, озабоченная в ту пору главной подростковой проблемой.

Когда Дашка уезжала во Владивосток, она долго колебалась, но потом все-таки оставила Куньку родителям на память о том, какой она когда-то была маленькой и хорошенькой. Кстати, Вета, оказывается, явилась на свет в том же самом роддоме, что и Дашка, – и вполне возможно, у нее дома хранится точно такой же оранжевый квадратик.

Олег Трудович поглядел на часы: до Ветиноного условленного звонка оставалось четырнадцать минут. Вчера они почти поссорились. Вета требовала, чтобы он вообще не брал из дома ничего, словно боялась этих материальных подтверждений его прежнего существования.

Мудрый Уби Ван Коноби любил поговорить о странностях любви. Одно его рассуждение навсегда запомнилось Башмакову: когда молодые племена завоевывают многоопытный народ, они первым делом уничтожают его летописи, чтобы стать с ним вровень и не мучиться чужими воспоминаниями. В любви стремятся к тому же, но это страшная ошибка, ибо если юного человека тащит вперед неведомое будущее, то человека немолодого толкает в завтрашний день лишь обжитое прошлое, и это уравнивает... Сказать возлюбленному, который старше тебя: ты вчера не жил! – равносильно тому, как если бы сказать кому-то: ты завтра умрешь!

Уби Ван Коноби умер в начале Перестройки, но еще до Большой Бузы. По официальной версии, отмечая защиту диссертации своей аспирантки, он сделал знаменитую стойку на руках, и у него случился инсульт. По другой версии, неофициальной, погубила беднягу не стойка на руках, а слишком активное для его возраста участие в судьбе молоденькой иногородней соискательницы. На гражданской панихиде в актовом зале «Альдебарана» вдова покойного стояла у гроба с видом строгой контролерши, полной решимости не допустить на аншлаговый сеанс ни одного безбилетника. И виноватая аспирантка, прячась за спинами скорбных сотрудников, так и не отважилась приблизиться к замороженному Уби Ван Коноби.

При поддержке Докукина заведомо назначили Башмакова. Каракозин, поздравляя нового руководителя от имени коллектива, назвал его уважительно «Олегом Трапезундовичем». В ту пору очень кстати получили заказ на разработку узлов для «Альфы», и Башмаков собирался на этом материале защитить докторскую диссертацию. Но так, конечно, и не собрался...

Нина Андреевна к тому времени осталась одна. Ее муж, перепробовав для поправки здоровья все средства традиционной медицины, набрел на «группу обмена жизненными энергиями». Это был новомодный метод лечения. Суть заключалась в том, что больные, собранные в одном месте, под руководством опытного экстрасенса в результате проб и ошибок разбивались на небольшие коллективы, представляющие собой самодостаточные биоэнергетические группы, и путем взаимной подпитки излечивали друг друга.

Такую вот самодостаточную группу Чернецкий образовал с неврастенической журналисткой. Именно ей однажды во время сеанса релаксации он пожаловался на жену, не понимающую его творческую натуру. А встретив сочувствие, принес ей почитать свой роман про Ноя. Журналистка пришла в экстаз, сказала, что роман гениален настолько, что время его придет очень не скоро, но с такой непонятливой женой дальше жить нельзя, ибо любое непонимание – это страшный вампирический отъем жизненной энергии.

Чернецкий разменял их большую трехкомнатную квартиру на однокомнатную и двухкомнатную, судился из-за мебели и навсегда исчез из жизни Нины Андреевны, забыв про сына и лишь раз в месяц присылая почтой такие маленькие алименты, словно жил на студенческую стипендию. Вскоре он и его новая жена стали являться на телеэкране в качестве предсказателей судеб и продолжателей бессмертного дела Нострадамуса. Между прочим, они очень точно предсказали падение Горбачева:

*Пятнистый волк процарствует недолго,
Медведь беспальный задерет его...*

Потом они тоже развелись и до сих пор судятся за авторство совместно написанной книги «Новейшие центурии», о чем часто и охотно пишет еженедельник «Бульвар-экспресс».

Башмаков, обретя на некоторое время свою забытую рукастость (узнала бы Катя!), помогал Нине Андреевне переезжать на новую квартиру, расставлял мебель, прибивал, прикручи-

вал – одним словом, обустроивал. Даже добыл у тестя финские обои, якобы для своего начальства, и собственноручно поклеил, чего дома не делал давно. Происходило это летом. Катя поехала с классом в трудовой лагерь и взяла с собой Дашку. На прощание она весело попросила мужа в случае неверности изменять ей не на супружеском диване, а исключительно на коврике в прихожей.

Почти на месяц Олег Трудович превратился в холостяка и однажды зазвал Нину Андреевну в гости, но она, побродив по комнатам, нервно отвергла домогательства Башмакова:

– Я чувствую себя квартирной воровкой!

И он несколько раз оставался ночевать у нее. Утром сквозь сон Башмаков слышал, как Нина Андреевна собирает Рому в школу. Над сыном она трепетала и могла, например, за ужином вдруг расцеловать его и сказать, отирая слезы умиления:

– Омочка, какой ты у меня красивый! Личико и глазки как будто Серебрякова нарисовала!

Рома был шуплым отроком с очень правильными чертами лица и умными, как у больного щенка, глазами. Он имел разряд по шахматам и даже участвовал уже в матчах. Башмаков иногда играл с ним и даже один раз одолел мальчугана, испытал при этом совершенно неприличное для зрелого мужчины, кандидата наук, чувство радостного превосходства.

Когда утром, после проведенной вместе ночи, они завтракали, Нина Андреевна, светясь, сказала:

– Ты знаешь, что Омочка спросил, когда собирался в школу?

Омочкой она называла сына, потому что тот в детстве не выговаривал «р».

– Что? – поинтересовался Башмаков, поедая полноценный завтрак – в его семье готовить такой было не принято.

– Омка спросил: «Это он?»

– А ты?

– Я сказала – «да».

– А он?

– Он сказал, что так тебя почему-то себе и представлял. Я уверена, вы подружитесь!

На работу они ехали вместе, обмениваясь взглядами и улыбками, в которых, как в криптограмме, была зашифрована вся их упоительная и не исчерпанная до конца ночь.

– Ты знаешь, кажется, Омка нас слышал, – наклонившись, шепнула Нина Андреевна.

– Почему ты так решила?

– Он спросил, отчего я ночью плакала и не обидел ли ты меня?!

– А ты?

– Я сказала, что иногда женщины плачут от счастья...

– А он?

– Он задумался, а потом сказал, что с папой я от счастья никогда не плакала.

– Наблюдательный ребенок, – оценил Башмаков, наполняясь глупой петушиной гордостью.

И хотя за квартал до проходной они разошлись, чтобы появиться на работе порознь, доглядчивые лабораторные дамы сразу что-то почувствовали, начали перешептываться, и когда в столовой Башмаков, поморщившись, отставил стакан с подкисшим компотом, Каракозин тихо сказал:

– Горько.

После работы Башмаков и Нина Андреевна зашли в магазин, и она по-семейному советовалась с ним, чего и сколько покупать, а после ужина попросила проверить у Ромы уроки. Видимо, это был чисто символический, совершенно не характерный для их семьи жест, но умный мальчик покорно отдал тетради и почтительно выслушал дурацкие замечания нового маминого мужчины.

– Когда ты поговоришь с женой? – спросила она в тот момент, когда любовь уже кончилась, а сон еще не наступил.

– Кто – я? – отозвался Башмаков так, точно Нина обращалась одновременно к пяти любовникам, лежащим с ней в постели.

– Хочешь, я сама с ней поговорю!

– А что ты ей скажешь?

– Скажу, что ты любишь меня, а ее не любишь...

– Она может не понять.

– Неужели она не понимает, что любовь – это главное в жизни? И жить с человеком, который тебя не любит, унизительно!

– В жизни много главного...

– Например?

– Например, дети.

– Дурачок, я рожу тебе кого только захочешь и сколько захочешь! Представляешь, Омка меня вчера спросил: «Мама, а у тебя с Олегом Трудовичем – ему, кстати, очень твоё отчество нравится, – будут дети?»

– А он не спрашивал, почему ты разошлась с его отцом?

– Нет, Омка только спросил, любила ли я его когда-нибудь.

– А ты?

– Я ответила, что не любила... А он сказал, что всегда так почему-то и думал и что никогда не женится на девочке, которая его не любит. А ты любил свою жену?

– Давай не будем об этом! – Башмакова раздражало, что Нина пользовалась словом «любовь», точно кайлом.

– Когда ты с ней поговоришь?

– Как только она вернется.

– А когда у нее день рождения?

– При чем тут день рождения?

– Тебе трудно ответить?

– Двадцать первого июня...

– Так я и знала... Она – Близнец. А у Близнецов с Тельцами ничего хорошего быть не может!

Катя вернулась раньше времени: Дашка заболела ангиной, лежала бледная и говорить могла только шепотом. Башмаков взял отгулы и сидел с дочерью, потому что Катю только-только назначили завучем и она готовила школу к началу учебного года.

После Дашкиного выздоровления он снова стал часто бывать у Нины Андреевны, благо ее новая квартира была в пяти автобусных остановках от «Альдебарана». Она потчевала его отличным ужином, а если Рома был в шахматном кружке, они наскоро любовничали – и Башмаков, провожаемый ее отчаянными взглядами, мчался домой. А чтобы Катя ничего не заподозрила, с показательным аппетитом съедал еще и семейный ужин. Даже иногда, для полной достоверности, на сон грядущий любил жену, находя в этом некоторую сравнительную остроту ощущений, наподобие той, какую испытывает, должно быть, двойной агент. В результате сидячей работы и двойственных ужинов Башмаков сильно растолстел.

Нина Андреевна несколько раз заводила разговоры об их будущем, ссылаясь при этом почему-то на Рому, который, по ее словам, постоянно интересовался, когда же «дядя Олег» переедет к ним насовсем.

– Мальчику тринадцать лет, а он понимает, что если люди любят друг друга, они должны жить вместе. А тебе тридцать пять...

– Дай мне время!

– Для чего? Чтобы разлюбить меня?!

Это повторялось каждую их встречу, и Башмаков начал тихо ненавидеть вдумчивых подростков и все производные от слова «любовь». И вот однажды, когда, рассказывая Кате о срочной работе, потребовавшей его задержки в «Альдебаране», Башмаков с привычным аппетитом съедал второй ужин, раздался телефонный звонок. Катя быстро схватила трубку: она в ту пору еще верила, что отыщется их украденная машина, и ждала звонка от следователя. Но это была Нина Андреевна...

12

Эскейпер взглянул на часы: с минуты на минуту должна позвонить Вета и сообщить результат экспресс-анализа. Он встал и подошел к окну. Анатолич вернулся на рабочее место и ковырялся в железных внутренностях «Форда». В халате он походил на хирурга, склонившегося над кишечными хитросплетениями огромного вскрытого тела. Олег Трудович вдруг почувствовал себя студентом, с высоченных застекленных антресолей наблюдающим за тем, как медицинское светило делает уникальную операцию.

Сам Башмаков к автомобилям был прежде совершенно равнодушен. А вот Катя всегда мечтала о колесах и даже иногда утром, проснувшись и потягиваясь, сообщала:

– Тапочкин, а мне снова снилось, как я вела машину. Почему-то по горной дороге... Душа на поворотах знаешь куда уходила?

– Знаю. – Башмаков с хозяйским равнодушием ерошил то место, куда на поворотах уходила Катина душа.

Расчетливая жена давно уже начала копить на автомобиль, заведя специальную сберкнижку. Для начала она перестала выбрасывать пустые бутылки и по выходным высматривала из окна грузовик, собиравший у жителей стеклотару. Сумки с бутылками стояли в прихожей уже наготове, и едва во дворе показывался передвижной посудосборный пункт, они мчались к лифту, гремя емкостями, которые Каракозин однажды поэтично назвал «скорлупой от удовольствия». Потом, пересчитывая мятые и почему-то всегда влажные рублевки, Катя мечтательно спрашивала:

– Ты какого цвета хочешь?

– Все равно.

– Все равно не бывает.

– Бывает.

– Ну в чем дело? – начинала сердиться жена. – Тебе задали простой вопрос: какого цвета ты хочешь машину? Напрягись!

– Черного, – напрягался Башмаков.

– А я – цвета мокрого асфальта...

Катя даже окончила заранее курсы вождения, хотя прекрасно понимала, что на сданные бутылки машину не купишь – копить предстоит долго и упорно. Она однажды самоотверженно отказалась от нутриевого полушубка – его продавала знакомая учительница младших классов. Муж учительницы руководил камерным хором слепых и плохо видящих и благодаря таинственной солидарности незрячих мотался по всему миру. Катя принесла полушубок домой и разложила на диване.

– Нравится? – спросила она Башмакова, едва он вошел в квартиру.

– Ничего, – вяло кивнул Олег Трудович, все еще мысленно пребывая в жарких объятиях Нины Андреевны.

– А мне цвет не нравится.

– Да? Ты какой хочешь?

– Мокрый асфальт, – вздохнула Катя.

Ожидание машины со временем стало неотъемлемой частью их семейной жизни. Вечной светлой мечтой. И вдруг Докукин, встретив Башмакова в коридоре, спросил:

– А деньги-то у тебя есть?

– А сколько вам нужно? – осторожно поинтересовался Олег Трудович, с возрастом все неохотнее дававший в долг.

– Мне? Мне ничего не нужно. Машину-то ты собираешься покупать?

– А что – скоро?

– На прошлой неделе отправил списки в магазин. Жди открытку! Кстати, хочу задать тебе вопрос...

– Весь внимание! – подобрался Башмаков.

– Сам будешь ездить или на продажу берешь? Если на продажу – есть хороший человек.

– Жена будет водить.

– Смотри! Женщин к рулю подпускать нельзя. Нельзя! Предупреждаю тебя как коммунист коммуниста...

Докукин хлопнул младшего товарища по представительному животу и улыбнулся. В последнее время свое любимое присловье он стал произносить не то что в насмешку, а скорее с оттенком уважительной самоиронии.

Башмаков наврал Нине Андреевне, ждавшей его в тот вечер на борщ, разумеется, с пампушками, что ему нужно идти в школу на родительское собрание. Олегу Трудовичу хотелось как можно скорее сообщить радостное известие Кате.

– У тебя жена в этой школе работает! – тихо удивилась любовница.

– Именно поэтому я и иду на собрание! – совершенно искренне обиделся на такое недоверие Башмаков.

– Ты не обманываешь?

– Не приучен.

– Жаль. Рома сегодня вечером на занятиях...

Катя, подавленная, сидела на диване, а перед ней на плечиках, прицепленных к открытой дверце гардероба, висел мужнин пиджак.

– Имею сообщить тебе стратегическую информацию... – многозначительно начал Олег Трудович.

– Я тоже.

– Хорошо. Но я первый.

– Уступи место женщине!

– Уступаю.

– Тунейдыч, – ласково спросила она, – ты что – научился пришивать пуговицы?

– Какие пуговицы?

– Вот эти! – Катя впиалась в мужа взором следователя по особо важным делам.

– А в чем дело?

– А в том, что я всегда обматываю нитку под пуговицей. Эти две пуговицы не обмотаны. Может быть, ты наконец познакомишь меня со своей пассией – я научу ее пришивать пуговицы!

– Чушь! – отмел Башмаков, вспомнив, как недавно Нина Андреевна действительно что-то делала с его пиджаком, пока он належивал силы, чтобы отправиться домой. – Чушь и клевета!

– Твоя версия?

– Моя? М-м... Очень просто: у нас была немецкая делегация. Одна наша лабораторная девушка, ты ее не знаешь, заметила, что у меня пуговицы болтаются, и срочно пришила. Интересовалась, между прочим, куда смотрит моя жена.

– Врешь!

– Ваши подозрения мне странны!

– А вашу лабораторную рукодельницу зовут случайно не Нина Андреевна?

– Случайно – нет. Мы на дачу завтра едем?

– Мы едем в суд – разводиться!

– Отлично. Еще вопросы есть?

– Есть. Ты знаешь, что у тех, кто врет, вырастают рога?

– Читал! – рывкнул Башмаков, подошел к пиджаку, вырвал обе пуговицы с мясом и швырнул на пол.

В тот день Катя легла спать отдельно, на Дашкиной кровати, но сквозь сон Башмаков подглядел, как жена прокралась в комнату, шарила в поисках закатившихся пуговиц, нашла и унесла вместе с пиджаком на кухню. А утром она растолкала его:

– Тунеядыч, проснись же! Вот – открытка... Открытка пришла!

– Из суда присылают не открытки, а повестки.

– Балда! Открытка на машину!!!

– Именно эту информацию я тебе и хотел вчера сообщить. – Голос Башмакова из-за утренней хрипотцы прозвучал особенно сурово.

– А делегация была из ГДР или из ФРГ?

– А черт их разберет. Они же вроде объединяются...

– Прости! Я была вчера не права...

Дашка как раз гостила у бабушки, и они, быстро, но полноценно помирившись, помчались к Катиным родителям, суетливо заняли у тестя недостающую тысячу, а потом на такси – не дай бог хорошие цвета кончатся! – помчались на Варшавку в автомобильный магазин. Толпа в магазине была чудовищная, словно в аэропорту, из которого по метеоусловиям уже несколько дней никто не может улететь. Открытки были у всех. Велся специальный список, утром и вечером устраивали переключки. Народ периодически обмирал от слуха, будто со дня на день машины подорожают в два раза или же – а это еще хуже! – начнется обмен денег, потому что Горбачев под давлением демократов дал указание срочно убрать Ленина с купюр... Перепуганная Катя позвонила даже одному родителю, работавшему в Минфине, и тот ее успокоил. Другой родитель, большой начальник, организовал звонок директору магазина, чтобы можно было получить автомобиль, минуя дурацкий список. И вот в конце концов продавец – человек со скорбно-равнодушным лицом (будто выдает он не новенькие автомобили счастливым, а урны с прахом усопших) – спросил у замершей от восторга Кати:

– Цвет какой хотите?

– Мокрый асфальт, – прошептала она.

Он посмотрел на нее так, словно вместо одной урны с прахом от него потребовали к выдаче две.

– Не в европах...

– А какой есть?

– Цвета детской неожиданности и цвета блюющего кузнечика.

– Я серьезно! – взмолилась Катя.

– Разве я похож на Жванецкого? – пожал плечами продавец.

Башмаков слушал весь этот диалог, едва сдерживая вековую ненависть бесправного потребителя к обнаглевшему сатрапу прилавка. И все-таки наконец не сдержался:

– А если... э-э... поискать. Мы будем... хм... благодарны!

Продавец посмотрел на них долгим и печальным взглядом человека, причастного к сакральным тайнам советской торговли, и куда-то ушел. Вернулся он через четверть часа и сообщил угрюмо:

– «Кофе с молоком». Но без бокового зеркала и с разбитой фарой. Двести.

– Берем! Но нам надо съездить еще за деньгами. Мы скоро!

Когда они примчались к Каракозину, тот собирался на халтуру – укладывал в большой рюкзак рулон дерматина и инструменты. Принцесса, вышедшая узнать, кто пришел, была одета в шелковый китайский халат, тонко перехваченный у талии, и намакияжена, как для посольского приема. Их сын Андрон носился по квартире, изображая, а точнее, являясь в этот момент стратегическим бомбардировщиком. Джедай подобрал с пола тапочку и бросил в мальчика, нарочно промахнувшись.

– Ракета прошла справа! – скрипучим диспетчерским голосом констатировал Андрон.

– И так целый день, – нежно сообщил Каракозин. – Приземляется, только когда «Спокойной ночи, малыши» показывают. Атомный мальчик.

– Весь в отца, – добавила Принцесса с неуловимым оттенком какой-то генетической неприязни к мужу.

Джедай не только одолжил недостающие деньги, но и вызвался поехать с ними в магазин, чтобы проверить машину и помочь отогнать ее домой: Катины водительские права были слабой гарантией того, что она благополучно дорулит с Варшавки.

Наконец выкатили новенькую «пятерку».

– «Кофе с молоком», – счастливо вымолвила Катя.

– Новая модификация базовой модели, – констатировал Каракозин, озирая разбитую фару и отсутствующее зеркало. – Называется «Адмирал Нельсон».

Хмурый продавец впервые улыбнулся и предложил еще за двести рублей тут же заменить фару и привинтить недостающее зеркало. Получив деньги, он ушел.

– Гегемоном следующей революции будет не пролетариат, а возмущенный покупатель, которому нечего терять, кроме своих рублей! – объявил Джедай.

Он обошел машину, постучал ногами по колесам, открыл-закрыл двери и багажник. Потом завел мотор и поморщился, как настоящий меломан от звуков «Машины времени».

– Автомобиль – как жена. Недостатки можно выявить только в процессе эксплуатации. – Каракозин вздохнул. – Поэтому единственное, что мы можем, – проверить, закрываются ли двери...

Вставили фару и вернули на место зеркало, а потом явно повеселевший продавец уговорил их тут же в техцентре установить сигнализацию, мерзко завывавшую от малейшего прикосновения к машине. Мастер, ставивший сигнализацию, заявил, что даже он сам, если бы захотел, не смог бы угнать «тачку» с такой «вопилкой».

Когда Каракозин аккуратно припарковал машину возле подъезда, Катя еще раз любовно оглядела свое сокровище и вдруг страшно ахнула. Башмаков метнулся к ней – она с ужасом показывала на незамеченную царапину толщиной с волос на левом заднем крыле. Каракозин и Олег успокоили ее как могли, но Катя от подъезда вернулась к машине и тихонечко хлопнула ладонью по капоту – в ответ раздался омерзительный вой.

– А теперь – шампанского! – крикнула она.

Поздно ночью они пошли провожать до метро Каракозина, который был пьян и печален: перед выходом он, позвонив домой, выяснил, что Принцесса пошла к подруге и до сих пор не вернулась. На обратном пути Катя вдруг предложила мужу посидеть в машине. Внутри волнительно пахло новым кожзаменителем. Через стекла в свете фонарей было видно, как меж колес плотно припаркованных автомобилей мелькает юркая крысиная тень.

– А нас, между прочим, никто не видит! – мечтательно сказала Катя, включила приемник и, потрещав по диапазонам, поймала нечто брамсообразное. – Давай прямо здесь!

– Тут неудобно! – опешил Башмаков, в семейном интиме инстинктивно придерживавшийся охранительного консерватизма.

– Отчего мужья не летают? – вздохнула Катя.

– Ну почему же?

И они полетели...

На следующий день Нина Андреевна, словно уловив в лице Башмакова что-то опасно новое, спросила с очень странной усмешкой:

– Ну и как машина?

– Незабываемые ощущения!

– Тебе теперь не до меня будет...

– Как ты можешь!

– Я приготовила мясную запеканку. И Омка уйдет...

– Ладно.

После запеканки и бурного десерта Нина Андреевна лежала в нежном беспмятстве. Башмаков начал потихоньку одеваться.

– Ты не должен был покупать машину! – вдруг громко сказала она, открывая злые глаза.

– Почему?

– Потому что вещи – это цепи, которые привязывают к нелюбимому человеку.

– Я тебе никогда не говорил, что не люблю жену.

– А зачем? Ты говорил, что любишь меня. Этого довольно. Двоих сразу любить нельзя.

«Можно, но тяжело!» – подумал в ответ Башмаков. Между прочим, в этот вечер он поймал себя на том, что, обладая плакучей и крикучей Ниной Андреевной, он для остроты впервые думал о Кате, точнее, об их вчерашней автолюбви. И это было странно, потому что обычно случилось наоборот: в ненастойчивых Катиных объятиях он для радости вызывал в памяти как раз Нину Андреевну или еще кого-нибудь из мимолетных.

Придя домой с дежурства, Башмаков обнаружил жену у окна.

– Знаешь, сверху она напоминает коробочку для украшений. А недавно песик стал брызгать на колесо, а она как заревет, а собака как отскочит и убежит... Я сегодня уже тренировалась по переулкам. В субботу поедем на дачу. Только попозже, когда машин будет мало. Ты сыт?

– Голоден как волк!

– В каком смысле? – В голосе жены прозвучал томный отзвук вчерашнего приключения.

– Во всех! – проклиная себя, бодро ответил Башмаков.

Утром, измученно собираясь на работу, Олег Трудович выглянул в окошко и спросонья не узнал собственной «пятерки».

– А где машина? – испуганно вскрикнул он.

Крик вышел таким громким, что Дашка поперхнулась бутербродом, а Катя выскочила из ванной, широко раскрыв глаза и даже забыв вынуть из белого от пасты рта зубную щетку.

– Да вот же! Вот! – выдохнула она, обнаружив автомобиль под окнами. – Тунеядыч, убую!

На следующий день Дашка, собираясь в школу, уже нарочно выглянула в окно и с деланным отчаянием закричала:

– Мама, машину свистнули!

И Катя, по интонации понимая, что ее разыгрывают, все-таки, с недокрашенными губами, метнулась к окну и потом спокойно заметила:

– Садистку растим!

Автомобиль украли в ночь с пятницы на субботу. Вечером Катя еще ездила по соседним улицам – тренировалась перед автопробегом Москва – Дача. Башмаков, накануне отмечавший в «Сирени» чей-то день рождения, встал рано утром утолить закономерную жажду, автоматически выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что место, где вчера стояла машина в тесном ряду своих одноконвейерных сестер, теперь напоминает дырку от выбитого зуба.

– А где машина-то?

– Да ну тебя к черту – надоел! – сквозь сон ответила Катя.

– Я серьезно!

– Тунеядыч, я тебя кастрирую!

– Ты что, ночью переставила ее? – нащупал успокаивающее объяснение Башмаков.

– Ничего я не переставляла, – так же сквозь сон сказала Катя.

– А где же тогда машина?

Наверное, в голосе Башмакова мелькнуло что-то неподдельное, потому что Катя, закричав: «Ты врешь!» – бросилась к окну, несколько мгновений стояла безмолвно, а потом бесстрастно произнесла:

– Немедленно в милицию!
Зарыдала она уже в лифте.

В милиции они долго не могли выяснить, куда именно нужно обратиться. Мимо сновали озабоченные, не замечавшие их люди в форме, и Башмаков подумал: приди он сюда, неся на плече ногу от расчлененного трупа, никто бы даже не обратил внимания. Наконец их отправили в требуемый кабинет.

– У нас украли машину! – трагически заявила Катя с порога.

Милиционер, не отрываясь от трубки телефона, кивнул, словно давно уже об этом знал, и протянул им чистый лист бумаги. Пока Катя писала заявление, Башмаков прислушивался к разговору, касавшемуся какого-то убийства с поджогом.

– А что там дактилоскопировать? Одни головешки остались...

– Вы найдете нашу машину? – жалобно спросила Катя, протягивая заявление.

– Застраховались?

– Н-нет, не успели...

– Сочувствую. Если что – позвоним.

Катя пришла домой, легла на диван и горько заплакала. На памяти Башмакова так – безысходно, тоненько подвывая – она плакала еще один раз: когда ей сказали в больнице, что детей у нее больше не будет. А вот окончательно убедившись в существовании Нины Андреевны как альтернативы своему супружескому счастью, она не пролила ни слезинки.

Едва раздался тот идиотский звонок, Катя, ожидая вестей от следователя, опередила Башмакова, с утра маявшего нехорошим предчувствием, и схватила трубку. Потом она долго слушала, блуждая взглядом по кухне, затем глаза ее нацелились на мужа и начали нехорошо темнеть.

– Спасибо, я учту вашу информацию, – холодно оборвала она чью-то неслышимую скороговорку и повесила трубку.

– Что случилось?

– Ты не догадываешься?

– Нет. Дашка в школе набедокурила?

– Нет, не Дашка набедокурила, а ты, любимый, наблядокурил!

– Ну ты... – только и вымолвил Башмаков, почти никогда не слышавший от жены неприличных выражений, разве что когда она рассказывала анекдот, и то старалась заменить нехорошее слово каким-нибудь «та-тата». – А в чем, наконец, дело?

– Дело – наконец! – вот в чем: звонила какая-то ненормальная и сообщила, что ты любишь другую женщину. То есть ее. И что я не имею права препятствовать вашему счастью... Что я Близнец, а Телец, то есть ты, может быть счастлив исключительно с Девой, то есть с ней...

– Бред какой-то! – совершенно искренне возмутился Башмаков.

– Послушай, Тунядыч, если это так, я тебя не держу и на коленях, как в прошлый раз, стоять не буду! Я ведь тоже понимаю, что любовь – это главное в жизни... парнокопытных!

– Действительно ненормальная! Кто же это мог быть? А-а, ну конечно... – Он звонко хлопнул себя по лбу. – Я тут одну недавно уволил, и она просто мстит...

– Ты уволил Нину Андреевну? – усмехнулась Катя.

– Не-ет.

– Уволь, пожалуйста, или я уволю тебя, любимый!

На следующий день Нина Андреевна встретила его взглядом юной партизанки, без приказа взорвавшей накануне фашистский штаб. Он отвернулся, а в обеденный перерыв затащил любовницу в беседку возле Доски почета. От ярости у него из ноздрей били струи пара.

– Зачем ты это сделала? Я же просил! Я же сказал – я сам!

– Сам ты не можешь. Я хочу тебе помочь. Я буду бороться за тебя и за нашу любовь!

– Не надо за меня бороться. Не надо!

– Надо. Даже Омка, ребенок, сказал мне...

– Да отстань ты от меня со своей любовью и со своим Омкой! – заорал он так, что сотруди-
ники, проходившие мимо беседки, опасливо оглянулись.

Нина Андреевна посмотрела на него с ужасом:

– Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?

– Извини...

– Нет. Не извиню!

Она зарыдала, почти так же, как рыдала в его объятиях, и, наверное, сама почувствовав это неуместное сходство, закрыла лицо руками и убежала.

Катя в этот вечер сначала внимательно наблюдала подавленную задумчивость Башмакова, потом, во время ужина, завела с Дашкой разговор о недопустимости измены в дружбе между мальчиками и девочками, а затем, уже перед сном, накладывая на лицо ночной крем, деловито спросила:

– Неужели ты уволил свою Деву?

– Уволил.

– Я могу спать спокойно?

– И не спать тоже.

– Между прочим, я отобрала сегодня у Комольцевой гороскоп – на уроке, мерзавка, читала. Я позвонила маме. Оказывается, она родила меня ночью, в четыре часа, то есть уже 22-го. Значит, на самом деле я – Рак. А Раки со всеми могут ужиться! Акушерка сказала маме, что 22-е – нехороший день: война началась. И меня записали 21-м... Понятно тебе?

– Можно поцеловать твою нежную клешню?

– Не прикасайся ко мне!

Больше он у Нины Андреевны не ужинал. На работе они продолжали поддерживать ровные и настолько вежливые отношения, что в отделе сразу обо всем догадались. Лишь иногда бывшие любовники встречались взглядами, и в перекрестье, словно голограмма, возникали два сплетенных страстью нагих тела, но взгляды разбегались – и мираж исчезал.

В свой кабинет Башмаков теперь Чернецкую не вызывал, но однажды она вошла сама и без слов ударила его наотмашь по лицу. На следующий день он нашел в папке для приказов записку:

Прости!

Я тебя люблю и буду ждать, сколько понадобится!! Н.

Башмаков приписал третий знак восклицания и разорвал записку.

13

Было уже пятнадцать минут первого, а Вета все не звонила. И это странно. Несмотря на свою молодость, она девушка обязательная и пунктуальная. Может быть, что-то не так с анализом? Эскейпер в раздумье пошел в Дашкину комнату к аквариуму: непойманный «сомоц» высунулся из раковины, но совсем чуть-чуть, так что сачок подвести к нему было невозможно.

«Ишь, какой хитрый! – подумал Олег Трудович. – Не хочет переезжать! А кто хочет?..»

В свое время, задумываясь по пустякам, Башмаков сделал вывод: все люди, в сущности, делятся на две категории – на тех, кто любит переезжать, и тех, кто не любит. Любящие переезжать раздвигают пространство жизни. Нелюбящие переезжать берегут это раздвинутое пространство от запустения. Не будь первых, человечество так и жило бы под той пальмой, где родилось. Не будь вторых, вся земля представляла бы собой пустыню, выбитую стадами переселенцев, мчащихся по земному шару. Вот такая получается гармония. Когда человек жаждет переезда, а ему не позволяют, он превращается в бунтаря, в революционера и меняет свою жизнь не с помощью перемещения в пространстве, а посредством разрушения старого обиталища. В результате тот, кто даже не помышлял о переезде, не сделав ни единого шага, однажды утром просыпается в совершенно ином, чуждом мире и начинает этот новый мир в силу своего отворачивания к переездам беречь, лелеять и обустройства.

Башмакову иногда казалось: если бы всем желающим, тому же Борьке Слабинзону или Джедаю, вовремя дали возможность отъехать куда хочется, все осталось бы по-прежнему. Советский Союз был бы целехонек, а сам Олег Трудович, глядишь, защитил бы докторскую и стал заместителем директора «Альдебарана». Но все случилось так, как случилось...

После угона машины Катя еще долго старалась не подходить к окну, чтобы не видеть то место, где в последний раз стояла ее умыкнутая красавица цвета кофе с молоком. Петр Никифорович Катю успокаивал, обещал по знакомству, вне очереди, купить и подарить новый «жигуль», краше прежнего, но что-то там у него не заладилось. Деньги начали стремительно обесцениваться, поэтому даже по знакомству сверху запросили столько, что тесть временно отступил. Основные сбережения лежали у него на срочном вкладе. Боясь потерять годовые, снимать с книжки он ничего не стал, а просто вдвое увеличил цену на чешскую плитку и югославские обои. Творческие друзья Петра Никифоровича крикнули, но выдержали...

– О время, о цены! – вздохнул он.

Башмаков на всякий случай побывал у Докукина, и тот, зная о его горе, тоже обещал помочь, но как-то неуверенно:

– Решим твой вопрос, Олег, если, конечно...

– А что такое?

– Мне кажется, скоро начнется. Говорю тебе это как коммунист коммунисту! Понимаешь, Горбачев стал выступать совсем уж без бумажки. А у нас без бумажки никак нельзя – сразу бардак начинается. Бардак! Одна надежда на Чеботарева. Видал, куда взлетел?

– Да!

– Я ему поздравительную телеграмму отбил. Может, вспомнит про боевого товарища, как думаешь?

– Не сомневаюсь!

– А вот я сомневаюсь. Это болезнь у них там такая: чем выше, тем с памятью хуже.

Катя не сразу, но простила Башмакову историю с Ниной Андреевной, сказав, что не развелась с ним только из-за Дашки. Месяца два жена не подпускала к себе Олега Трудовича, объясняя это природной брезгливостью. Она и в самом деле в общепите, даже в ресторанах, всегда подозрительно оглядывала вилки-ложки и тщательно протирала их салфеткой.

– Ладно, – соглашался Башмаков, – подождем пять лет...

– Почему именно пять?

– За пять лет клетки в организме полностью обновятся, и я стану совсем другим человеком.

– Другим ты не станешь никогда! Грязь можно смыть с тела, а с души нельзя. Посмотри мне в глаза!

Когда наконец благодаря унижительной настойчивости Башмакова плотский контакт был восстановлен, Олег Трудович стал замечать, что Катя, раньше всегда любившая с закрытыми глазами, теперь наблюдает за его виноватыми стараниями с недоброй усмешкой и даже не разрешает выключать ночник.

– Тебе нужен свет?

– Нужен, любимый!

– Зачем?

– Хочу, чтоб тебе было стыдно!

Тем временем в «Альдебаране» грянула Большая Буза. Началось-то все, конечно, раньше – с того, что Каракозин вступил в партию. Тогда с научной интеллигенции вдруг сняли все лимиты и даже бросили клич – что-то насчет свежей крови. По этому поводу Джедай сочинил песенку:

*Каждому мэтру науки —
По партбилету в руки.
Каждой солистке балета —
В руки по партбилету.
А что? Ничего!
Желтые ботиночки...*

Сначала Каракозин только пел свое сочинение по заявкам трудящихся и ухмылялся – мол, знаем, зачем свежая кровь вампиру. Потом он вдруг сделался задумчивым и наконец однажды зашел в кабинет к Башмакову, помялся и сказал:

– Олег Тарантулович, ты, конечно, будешь смеяться, но дай мне, Христа ради, рекомендацию в партию!

– Тебе? – Башмаков автоматически придал своему лицу выражение скорбной сосредоточенности, которое в те годы появлялось на физиономии любого неветреного человека, когда речь заходила о направляющей силе советского общества.

– Мне.

– Зачем?

– Не въезжаешь?

– Нет.

– А ты представь себе, что попал на остров каннибалов и тебя тоже заставляют хавать человечину, а ты не хочешь и даже в принципе против. Конечно, можно поднять восстание. Но против кого восставать, если большинство на острове с удовольствием лопают себе подобных? Выход, получается, один: стать вождем этого племени и запретить жрать людей под страхом смерти... Это я и собираюсь сделать. Въехал?

– Въехал. Но пока ты доберешься до вигвама вождя, тебе столько народу сожрать придется! Можешь и привыкнуть.

– Посмотрим. Дашь?

– Есть старая казачья заповедь: трубку, шашку, рекомендацию в партию и жену не давай никому!

– Значит, не дашь?

– Дам. Очень интересно поглядеть, как ты оскоробишься!

На заседание общеинститутского парткома Джедай заявился в своем знаменитом джинсовом костюме, майке с надписью «Perestrojka» и даже соорудил на затылке рокерскую косичку, чего раньше никогда не делал. Парторг «Альдебарана» Волобуев-Герке, завидев такое, потемнел ликом – и это было понятно: в начале шестидесятых по заданию райкома он ходил по Москве с ножницами и стриг патлы стилигам. Совсем еще недавно он требовал, чтобы вступающий в партию показывал подкладку пиджака, и если там обнаруживался импортный лейбл, парторг с гадливостью упрекал провинившегося:

– А сало русское едим!

Потом Волобуев-Герке обычно наклонялся к сидевшему рядом соратнику и добавлял тихо:

– Так бы и дал по лбу половником!

Вообще-то, когда Башмаков пришел на работу в «Альдебаран», секретарь парткома был всего-навсего Волобуевым и любил вспоминать, как его дед, потомственный ивановский ткач, а затем лихой чоновец, воспитывал внуков за обеденным столом:

– Ка-ак даст половником в лоб – аж искры перед глазами. Потом, значит, спросит: «Понял?» А если не понял – еще раз ка-ак даст!

И вдруг на третий год Перестройки секретарь парткома удвоил фамилию и стал Волобуевым-Герке, ибо лихой чоновец женился, оказывается, на дочери тайного советника барона фон Герке, познакомившись с ней во время облавы на Хитровом рынке, где оголодавшая дворяночка меняла фамильные кружева на хлеб. А фон Герке были в дальнем родстве с Пушкиными. И теперь секретарь парткома с удовольствием рассказывал, как бабушка, приложив к шишке пятак, добавляла внуку по-французски:

– За недостойное поведение за столом выучишь наизусть оду Державина «Бог».

И надо сказать, удвоение фамилии сильно повлияло на характер секретаря парткома, в нем появились благородные манеры. Он даже теперь вставал из-за стола, когда в кабинет входила женщина, не попрекал вступающих в партию русским салом и все реже выказывал намерение дать кому-либо в лоб половником.

Завидев причудливого Каракозина, Волобуев-Герке быстро справился с собой, светло улыбнулся и, наклонившись к члену парткома Башмакову, шепнул:

– Пошел к нам неформал губастый, ей-богу, пошел.

Каракозина немножко погоняли по уставу, с удовлетворением выслушали информацию о том, что он не во всем разделяет взгляды Ленина, изложенные в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (за это еще два года назад можно было вылететь не только из партии, но даже из науки), и наконец радостно закивали, когда Джедай обрушился на сталинскую коллективизацию.

– А зачем вы вступаете в партию? – не совладав с бесом ехидства, вдруг спросил Башмаков, хотя ему, как рекомендателю, такие вопросы задавать вроде бы и не пристало.

– Хочу быть в са-амых первых рядах борцов за светлое будущее! – хитро улыбнувшись, ответил Рыцарь Джедай.

Приняли его единогласно.

Скандалы из-за бурной деятельности Каракозина начались сразу же после его вступления, но самый грандиозный разразился на открытом партийном собрании, посвященном проблемам ускорения в науке.

– Ну что, альдебараны! – крикнул Каракозин, забежав в трибуну. – Так и будут нас стричь, как овец?

Зал встрепенулся, ибо никогда прежде с высокой трибуны никто не называл сотрудников НПО «Старт» альдебаранами. Башмаков сидел в президиуме и, слушая своего протеже, чувствовал острое раскаяние в содеянном, явившееся почему-то в виде желудочного спазма. Еще со времен райкомовской юности и, вероятно, в силу некоторой причастности к кукольному

театру трибуна напоминала Олегу Трудовичу ширму, а человек, стоящий за трибуной, – куклу, управляемую чужой рукой. Вот живой человек встает, поднимается по ступенькам, поправляет микрофон и вдруг превращается в куклу – начинает не своим голосом лепетать совершенно чужие мысли. С самим Башмаковым такое случалось не раз. Слушая Джедая, он поражался тому, что впервые на его памяти человек, оказавшийся на трибуне, не превратился в куклу.

– Ну что, альдебараны! Мы создаем сложнейшие системы жизнеобеспечения в космосе. Из мочи питьевую воду делаем! Неужели из того дерьма, что нас окружает, мы не сделаем нормальную жизнь на земле?!

Зал затрепетал. Руководство набычилось.

– Не бойтесь, продолжайте! – приободрил из президиума инструктор горкома партии – совсем еще молодой человек в огромных очках.

– Я ничего не боюсь. Начнем с самого верха...

– С самого верха не надо, – предостерег Волобуев-Герке и доложил что-то важное в ухо напрягшемуся Доукину.

Доукин кивнул и покосился на дремавшего Р2Д2 – тот был в своем знаменитом сером буклированном пиджаке со Звездой Героя Социалистического Труда. Кстати, в курилке часто спорили о том, золотая это звезда или кавалерам выдают две: одну настоящую – для благоговеиного хранения, а вторую латунную – чтобы носить. Р2Д2 сидел не шевелясь, точно ничего не слышал.

– Хорошо, – согласился Каракозин. – Начнем с нашего альдебаранского верха. Кто нами руководит? А руководит нами многоуважаемый Игорь Сергеевич Шаргородский – лауреат, делегат, депутат и так далее. Одним словом, светило советской науки. И никто не осмеливается сказать прямо, что светило-то давно уже погасло...

Зал затаился в сладком ужасе. Президиум с интересом покосился на дремлющего Р2Д2. Горкомовец лихорадочно протирал свои огромные очки, чтобы получше разглядеть происходящее, не упустив ни малейшей подробности. И только академик Шаргородский тихо посапывал, уткнувшись ученым носом в абстракционистский галстук, купленный вскоре после войны в заграникомандировке и вдруг снова ставший страшно модным.

– Говорите по существу! – потребовал Волобуев-Герке и тихо поделился с Башмаковым своим желанием дать все-таки выступающему в лоб.

– Ах, по существу! Игорь Сергеевич! Ау! Я пришел к вам с приветом рассказать, что солнце встало... Игорь Сергеевич, какое нынче тысячелетие на дворе?! – нарочито громко, точно обращаясь к глухому, крикнул Каракозин.

– В каком смысле, голубчик? – откликнулся из своей добродушной старческой дремоты академик.

– В прямом. У нас тут НПО или богадельня?

Народ в зале мучительно заликовал. Волобуев-Герке сделал такое движение, точно хотел встать и стащить обнаглевшую куклу с трибуны, но, перешепнувшись с побагровевшим Доукиным, остался сидеть. Очкастый горкомовец, счастливо улыбаясь, строчил что-то в своем служебном дневнике.

– Хватит руководить институтом по телефону! – крикнули из зала.

– У него на даче три холодильника! Я сама видела, когда статью на отзыв возила!

– А еще его жена на рынок на служебной машине ездит!

Р2Д2 наконец понял, что речь идет о нем, и растерянно высморкался в большой клетчатый платок.

– Прекратите выкрики! – грозно потребовал Волобуев-Герке и сжал руку так, точно в ней был половник. – Желающие выступить, подавайте записки в президиум! Товарищ Каракозин, вы закончили?

– Я только начал! – отвечивал Рыцарь Джедай. Под шквал аплодисментов он спустился со сцены, гордо вернулся в зал на свое место, сел и помахал Башмакову рукой.

Начальство в «Альдебаране» критиковали, конечно, и прежде, но делали это по кукольным законам и кукольными словами. Но даже после такой кукольной критики следом за диссидентом на трибуну поднималась целая вереница подхалимов – и правдоискатель в конце концов начинал себя чувствовать примерно так, как если бы он громко повредил атмосферу в переполненном зале.

– Разрешите мне! – хмуро попросил Докукин.

Волобуев-Герке облегченно вздохнул, а Р2Д2 посмотрел на своего зама с тем выражением, с каким немощный отец обесчещенной девицы смотрит на внезапно появившегося отмстителя. Докукин вышел на трибуну, исподлобья оглядел зал, будто запоминая в лицо самых бессовестных крикунов.

– Попрекать возрастом заслуженного ученого – это нехорошо! – начал Докукин строго. – Три холодильника на даче – тоже не преступление. Жена на служебной машине разъезжает – не здорово, но простительно, хотя, конечно, молодая тридцатилетняя женщина могла б и на общественном транспорте... Но это частности. А вот дать внуку от первого брака квартиру за счет наших лимитов – это, Игорь Сергеевич, непростительно! Говорю это вам как коммунист коммунисту! Не-прости-тель-но!

– Откуда вы знаете? – спросили из зала.

– Все документы шли через меня. Копии в сейфе. Могу показать!

Зал заревел. Волобуев-Герке энергично замотал головой, чтобы из самых последних рядов стало видно, как он поражен этим внезапным разоблачением. Горкомовец, закинув очки на лоб, строчил с чисто болдинским вдохновением. Р2Д2, словно помолодевший от обиды, вскочил и засеменял к трибуне...

Рассказывали, однажды Шаргородский, вызванный к Сталину, на вопрос, почему он не борется с вредительством в химической промышленности, смело ответил:

– Мне такие факты, Иосиф Виссарионович, не известны.

– А если хорошенько подумать?

– Неужели вы полагаете, товарищ Сталин, что я могу вам отвечать, не подумав самым тщательным образом?

Кремлевский горец засмеялся – и в химической промышленности в течение года почти никого не арестовывали.

Подковыляв к трибуне, Р2Д2 вдруг как-то сразу снова постарел, даже одряхлел, зашатался и начал судорожно ловить посиневшими губами воздух, а чтобы не упасть, уцепился за трибуну.

– Врача! – заволновались в зале.

Докукин и Волобуев-Герке бросились к академику, но никак не могли отцепить его костлявые, покрытые старческими коричневыми пятнами пальцы от трибуны. Из кабинета гражданской обороны уже тащили брезентовые носилки и бежала медсестра, неся наполненный шприц в высоко поднятой руке. Наконец академика отодрали и понесли, а к микрофону уже мчался, на ходу по-оперному прочищая горло, Чубакка:

– Требую продолжения прений! Мы возмущены...

Расходились поздно, до тошноты наоравшись и напринимав ворох резолюций и открытых писем.

– Ну и как тебе человечинка? – спросил Башмаков Каракозина.

– Дерьмо!

На следующий день госпитализированный в кремлевскую больницу Р2Д2 отрекся от престола «в связи с пошатнувшимся здоровьем и необходимостью закончить научную монографию». Срочно созвали общее собрание, чтобы по новомодному поветрию выбрать директора.

Кандидатов было двое – Докукин и Каракозин, но Рыцарь Джедай после двухчасовой беседы в горьком партии отказался.

В своей тронной речи Докукин пообещал, что скоро у каждого сотрудника НПО «Старт» будет на даче по три холодильника, а для начала – в альдебаранском буфете появится свежее пиво.

Народ заликовал.

Каракозину многоопытный Докукин великодушно предложил организовать и возглавить Комитет научных работников в поддержку перестройки и ускорения (КНРППУ). После этого Джедай совершенно забросил работу и даже обивку дверей, редко появлялся в лаборатории, организовывая митинги, собрания, шествия.

Однажды он назвал Башмакова на заседание политсовета Краснопролетарского Народного фронта. Когда вечером они подошли к обсаженному голубыми елями белоснежному зданию райкома, на ступеньках уже толпились несколько неважно одетых молодых людей. Один из них, одетый чуть опрятнее других и похожий на хмурого, начитавшегося взрослых книжек ребенка, опирался на металлический костыль.

– Верстакович, председатель политсовета фронта, – представился он и значительно пожал Башмакову руку. – Кандидат исторических наук.

– Башмаков, начальник отдела... Кандидат технических наук.

– Хорошо, что вы с нами! – строго похвалил Верстакович и пытливо поглядел в глаза Олегу Трудовичу. – Техническая интеллигенция – движущая сила нашей революции. Рабочий класс куплен или спился. Крестьянство деморализовано и генетически ослаблено. Гуманитарии отравлены марксистской идеологией. Остаетесь вы – техническая интеллигенция.

– Олег Трудович и в райкоме работал! – гордо наябедничал Каракозин.

– Замечательно. Нам очень нужны люди, знающие аппарат! Мы не имеем права на ошибку. Сапер обязан знать устройство мины, которую собирается обезвредить...

Тем временем по ступенькам спустился маленький лысый юноша в затертой курточке. В глазах его стояли слезы, а губы тряслись:

– Ну вот...

– В чем дело? – Верстакович нахмурил детские брови.

– В комнате, которую нам обещали, занятия!

– Какие еще занятия?

– Кружок кройки и шитья...

– Ах вот, значит, как! – Председатель Народного фронта от волнения стал грызть ногти. – Этого следовало ожидать. Идет борьба! Номенклатура без боя не уйдет. Завтра же утром буду звонить в горьком партии! А сегодня... сегодня проведем совет прямо здесь!

Верстакович указал костылем на лавочки, расставленные вокруг ухоженной клумбы, по которой алыми цветами была высажена надпись: «Слава КПСС!» Посредине клумбы высилась давно не мытая ленинская голова на мускулистой борцовской шее. Вождь строго и пронищательно смотрел вдаль, не замечая возмутительной надписи, сделанной синей аэрозольной краской на гранитном пьедестале: «Коммуняки – бяки!»

Башмаков вспомнил почему-то, как однажды сурового Чеботарева во время торжественного митинга внезапно озаменовал голубь, наклевавшийся, вероятно, чего-то несвежего. Но краснопролетарский лидер, не заметив, продолжал вдохновенно ораторствовать, а слушатели едва удерживались от смеха. Вдруг Чеботарев ввернул в свою речь какую-то чугунную трибунную шутку – и народ зашелся в таком надрывном нескончаемом хохоте, что первый секретарь даже победительно обернулся к свите – мол, знай наших. Потом свита долго трусила указать не остывшему еще от митинговой вдохновенности Федору Федоровичу на досадный голубиный аксельбант. Выручила райкомовская старушка-уборщица. Завидев первого секретаря, она всплеснула руками:

– Чтой-то ты, Федор Федорович, сегодня какой-то у нас закаканный!

Взбешенный Чеботарев исписал потом половину своей знаменитой зеленой книжки.

– Значит, здесь и засядем, – повторил Верстакович и добавил, указуя на лысого юношу: – Будешь сегодня протокол вести!

– Кажется, дождь собирается, – заметил Джедай, дурашливостью скрывая некоторую свою неловкость перед Башмаковым.

– Может, ко мне в котельную? – гостеприимно предложил лысый юноша. – У меня там тепло. Картошечки пожарим...

– Лучше ко мне, – вмешался другой активист Народного фронта, седобородый дядька в стройотрядовской штормовке и кедах. – Жена будет рада! Но у меня можно только на кухне и тихонько, а то ребенка надо укладывать...

– Что ж, попробуем разбудить Россию, не разбудив твоего ребенка! – отечески улыбнулся Верстакович.

На кухню к бородачу Башмаков, конечно, не поехал, сославшись на неотложные дела и заверив, что со следующего раза он решительно вольется в ряды Народного фронта и отдаст все свои силы общему делу. На другой день Олег Трудович спросил Джедая:

– Где ты взял этих козлов?

– А в революции всегда бывают только козлы и бараны. Выбирай!

– Отстань!

Но Каракозин не отстал. Он пребывал в состоянии организационного неистовства – разбил сотрудников «Альдебарана» на пятерки, и в случае очередного наступления агрессивно-популярного большинства на демократию можно было в течение часа собрать целую колонну демонстрантов с транспарантами, трехцветными флагами и плакатами. Отказаться от участия в митинге или шествии было неприлично и даже невозможно.

– Олег Тихосапович, отсидеться в окопах не удастся! Идет борьба! – весело предупредил Джедай.

Отсидеться в окопах не смогли даже Докукин и Волобуев-Герке. Они-то обычно и шли впереди колонны альдебаранов, взявшись под ручку и приветливо раскланиваясь с другими колонновожатыми, которых прежде встречали на бюро райкома, ученых советах и в министерстве.

За Башмаковым закрепили фанерный транспарант с надписью, сочиненной все тем же неутомимым Каракозиным:

– Куда ты мчишься, птица-тройка,

Звеня старинным бубенцом?

– Лечу в социализм, но только

Чтоб с человеческим лицом!

Собирались обычно у метро «Киевская». Ожидая сигнала к началу движения и разбившись на группки, люди спорили о том, проданся Горбачев партократам или не проданся, ездит Ельцин на городском автобусе или не ездит. Однажды толпу потрясла чудовищная весть, что где-то на улице Горького райкомовскую «Волгу» ударили в задний бампер – багажник раскрылся, а там...

– Что? – похолодел Башмаков, предчувствуя труп кого-то из прорабов перестройки – Егора Яковлева или Гавриила Попова.

– Колбаса! Килограмм сто! А в магазинах шаром покати! Вот гниды райкомовские!

– Гниды, – соглашался Башмаков, обмирая.

Если бы кто-нибудь в этот миг угадал в нем райкомовца, пусть даже бывшего, его тут же разнесли бы на кусочки.

Во время такой демонстрации Башмаков оказался рядом с Ниной Андреевной, носившей по той же разрядке нарисованный ею портрет свинцоволицего Ельцина. С той, кабинетной, пощечины она нервно сторонилась Олега Трудовича, а однажды, когда Башмаков посмел пошутить по поводу пьяных американских бедокурств Ельцина, Чернецкая громко заявила, что иные персоны любят приписывать собственные низости и пороки великим людям. Надо сказать, все лабораторные дамы были надрывно влюблены в Ельцина, и только одна-единственная продолжала хранить верность Горбачеву.

Митинг, завершавший шествие, был несанкционированный, и когда милиция начала теснить толпу, Нина Андреевна вдруг оказалась до интимности плотно прижата к Башмакову. Защищая ее от напавшей со всех сторон публики, он обнял бывшую любовницу одной рукой и привлек к себе еще крепче, а она закрыла глаза и уронила к ногам портрет первого российского президента. В ее теле ощутилась прежняя зовущая мягкость, а Башмаков, напротив, почувствовал в себе твердость, совершенно неуместную в данных площадных обстоятельствах. Но потом Нина Андреевна очнулась, открыла глаза, окатила Олега Трудовича ледяным взглядом и, подняв портрет, отгородилась им, точно иконой от нечистой силы.

Когда они выбрались из толпы на Манежной и побрели по улице Герцена, Башмаков спросил:

– Ты очень на меня сердисься?

– Очень.

Мимо бежали люди с трехцветными знаменами, лозунгами, портретами Сахарова и возбужденно кричали о том, что митинг будет непременно продолжен на площади Маяковского.

– Как Рома? – спросил Башмаков.

– Рома занял шестое место на международном турнире.

– Он про меня вспоминает?

– Иногда.

Мимо промчалась плотная группа, катившая впереди инвалидную коляску с Верстаковым: на людных мероприятиях он появлялся почему-то не с костылем, а непременно в инвалидной коляске. Лидер Народного фронта озирался и в волнении грыз ногти. Плакаты и флаги люди, толкавшие его коляску, несли на плечах, как грабли, и были похожи на крестьян, возвращающихся с поля. Каракозин с «общаковой» гитарой замыкал этот летучий отряд. Увидев Башмакова с Чернецкой, он поощрительно улыбнулся.

– Может, встретимся как-нибудь? – неловко предложил Башмаков Нине Андреевне.

– Нет, «как-нибудь» мы встречаться не будем...

– А цветы?

– Цветы? – Она покраснела. – Цветы завяли.

– Совсем?

Нина Андреевна молчала. Навстречу им попался тучный милицейский майор. Он с ненавистью смотрел то на демонстрантов, то на свою портативную рацию, хрипевшую какие-то указания попеременно с матерщиной.

– Ты меня никогда не простишь? – спросил Башмаков.

– Прощу, когда разлюблю, – еле слышно ответила она.

14

Эскейпер взял с дивана стопку своих документов и, перед тем как убрать в кейс, еще раз внимательно просмотрел. В просроченном загранпаспорте (новый со свежей визой хранился для надежности у Веты) было множество ярко-красных, похожих на помадные следы от поцелуев штампов с одним и тем же словом – «Брест». Брест, Брест, Брест, Брест...

Башмаков никогда подолгу не жил за границей. Две спецтурпоездки по линии комсомола – в Венгрию и Австралию. В «Альдебаране» он был невыездным, как и все остальные сотрудники. Вместо них мотались по зарубежным конференциям Шаргородский, Докукин и на крайний случай Волобуев-Герке. Потом, когда началось, Олег Трудович вдосталь почелночил в Польшу, к панам за пьенендзами. Но шоп-тур – это обычно несколько дней. Дольше всего он жил в Австралии – две недели. Впрочем, слово «жил» тут не подходит. За границей Олег Трудович не жил, а пребывал в состоянии некой мимоезжей оторопи. Это чувство было похоже на то, какое возникает, когда поезд дальнего следования, скрипя и пошатываясь, тащится по предвокзальному многопутью, и чемоданы собраны, белье сдано протрезвевшему к концу рейса проводнику, а рука сама ищет по карманам ключ от домашней двери. Башмаков никогда не задумывался, имеет ли это чувство какое-нибудь отношение к тому, что именуется любовью к Родине, и сможет ли он ради этого чувства, к примеру, молчать под пыткой или, допустим, броситься с гранатами под танк. Просто на Родине он всегда чувствовал себя спокойно, по-домашнему, как если бы в одних трусах скитался по собственной квартире, почесывая, где чешется, и позевывая, как зеваается, не стесняясь столкнуться с Катей или Дашкой.

– Тунеядыч, ты бы хоть штаны надел – дочь-то уже взрослая! – говорила в таких случаях Катя.

Башмакова всегда удивляли люди вроде Катиного брата Гоши. Такие за границей именно жили – обстоятельно, со вкусом. Они на одну ночевку в отеле устраивались словно на всю жизнь, а видом из гостиничного окна восхищались так, будто это вид из их родового замка.

«Интересно, а какой вид из Ветиного замка? – подумал эскейпер. – И почему она, мерзавка, не звонит?»

Может быть, передумала? А что? Вполне возможно. Папа ведь предупреждал: поматросит и бросит... Да и вообще у этих нынешних девиц, как любил говаривать Слабинзон, вагинальное мышление. Никакого чувства долга! Одна точка «джи» на уме. Это тебе не Катя. И даже не Нина Андреевна!

После того памятного объяснения на митинге Башмаков и Чернецкая вели себя так, словно никакого разговора меж ними не было, но Олег Трудович чувствовал, как Нина Андреевна, затаившись, ждет от него следующего шага. И если раньше, до разговора, она, проходя мимо, обдавала его волной мучительного равнодушия, то теперь он кожей ощущал исходящий от нее просительный призыв. Надо было только протянуть руку... Почему же он этого не сделал? Боялся Кати? Боялся себя? Стеснялся подчиненных? Ерунда! Никого он не боялся и не стеснялся. Просто не протянул руку – и все...

Времена, когда подробности служебных романов и интрижек были главными темами в трудовых коллективах, канули в недвижную, покрытую кумачовой ряской советскую Лету. Народ теперь шумно обсуждал скандальное заседание Съезда народных депутатов, пересказывал очередную петушиную речь Собчака или надсадно хохотал над каким-нибудь ретроградом. Бурно потешались, например, над Чеботаревым – давним знакомцем Башмакова.

Федор Федорович, вошедший в большую силу, вдруг стал совершать одну ошибку за другой. Сначала вместе с Лигачевым он затеял антиалкогольную кампанию и даже выступил по этому поводу в «Правде» с большой статьей под названием «Пить или жить?». Водку и прочие разновидности добровольного безумия начали продавать только после двух часов. Об

умерших с перепоею без опохмелки тогда в народе стали говорить – «очеботурился». Потом в одном неловком телеинтервью он рассказал о своей знаменитой зеленой книжечке и даже показал ее с экрана. С тех пор, да еще и поныне, у журналюг выражение «попасть в зеленую книжку» стало чем-то вроде намек на черные, почти расстрельные списки, и как-то забылось, что в этой книжке был и положительный раздел.

Но самой большой ошибкой Федора Федоровича стало его печально знаменитое выступление на съезде депутатов, когда он как-то вдруг наивно и косноязычно принялся с трибуны буквально умолять:

– На колени, если надо, встану – не рушьте то, что не вы построили!

Федор Федорович сказал это и заплакал, а точнее, плаксиво дрогнул голосом. На следующий день газеты выскочили с шапками «Чеботарев на коленях», «Рыдающий большевик» и так далее. Каракозин уморительно копировал плаксивое выступление Чеботарева – и все, кроме Башмакова, просто катались со смеху, особенно Нина Андреевна.

– Чего не смеешься? – спросил Джедай подозрительно.

– Ха-ха-ха... – угрюмо подчинился Олег Трудович.

Башмаков, как и все, каждый вечер смотрел эти трансляции съезда и даже ссорился с Катей. Жена по другой программе самозабвенно следила за судьбой юной мулатки. Девушка мужественно противостояла сексуальным домогательствам подлого хозяина, а сама тем временем безуспешно пыталась отдаться недогадливому юному пастуху, не ведавшему о своем аристократическом происхождении. Зато об этом знали Катя и весь Советский Союз, существовать которому оставалось всего несколько месяцев.

– Ты же Достоевского любишь! – изумлялся Башмаков.

– Ах, Тапочкин, дай мне отдохнуть спокойно!

Внутрисемейный конфликт закончился тем, что по записочке Петра Никифоровича прямо на складе (в магазинах ничего уже достать было нельзя) купили с приличной переплатой еще один телевизор. По вечерам Катя звонила матери – и они час, а то и два обсуждали бурные события на фазенде, уложившиеся в получасовую серию. Во время трансляции съезда Каракозин тоже любил набрать телефонный номер Башмакова и крикнуть так, что мембрана в трубке дребезжала:

– Ты слышал эту гниду с лампасами?! Неуставные отношения в армии, оказывается, журналисты с писателями придумали! Дикарь!

Башмаков вяло соглашался, но на самом деле все эти трибунные страсти напоминали ему восстание кукол против Карабаса-Барабаса. Казалось, вот сейчас бородатый детина, задев шляпой кремлевские люстры, вывалится из-за кулис и шелкающим кнутом разгонит всю эту кукольную революцию. Но детина почему-то не вываливался.

Разодравшиеся Ельцин и Горбачев тоже напоминали Олегу Трудовичу вознесенных над публикой кукол, изображающих смешную балаганную потасовку в то время, как настоящая драка идет за ширмой между невидимыми кукольниками, которые по причине занятости рук, должно быть, пинают друг друга ногами. И казалось, иногда из-за этой ширмы доносятся заглушаемые верещанием барахтающихся Петрушек нутряные кряканья да уханья от могучих ударов.

После разрыва с Ниной Андреевной Башмаков вел размеренно-семейный образ жизни: придя с работы, ужинал, выпивал свои сто грамм, но не больше, ибо водку теперь продавали только по талонам и надо было растягивать удовольствие на месяц. Лишь однажды, после объяснения с Чернецкой на митинге, Олег Трудович переборщил, и к тому времени, когда Катя, усталая, но довольная, воротилась от ученика, жившего черт знает где, он уничтожил уже декадную норму водки и самоидентифицировался с трудом.

– Как митинг? – поинтересовалась Катя, гордо показывая невесть где добытые сосиски.

– Н-народ с н-нами...

– Э-э, Тунеядыч, так не пойдет! Я ведь теперь на свои талоны сахар буду брать, а не водку! – весело пригрозила жена.

– Ф-фашизм не пройдет!

Но такие излишества были редкостью, и обычно после ужина Башмаков ложился на диван перед включенным телевизором и впадал в чуткую дремоту, сквозь которую пробивалась к сознанию наиболее значимая информация. Иногда, чтобы отмотаться от очередного воскресного митинга, он говорил Каракозину, будто по выходным работает над докторской.

– Это ты, Олег Трудоголикович, брось! – сердился Джедай. – Сейчас докторскую купить легче, чем «любительскую»!

Когда начался знаменитый августовский путч, Башмаков, ощущая в теле приятное стограммовое тепло, лежал на диване, созерцал «Лебединое озеро» и вспоминал про одного тестева клиента – администратора Большого театра. Однажды в баньке, на даче, тот рассказывал, что от дирижера в театре зависит очень многое. Например, от взятого им темпа зависит, успеет ли оркестр после спектакля за водкой в Елисеевский гастроном, закрывавшийся в десять вечера. И если музыканты с ужасом понимали, что нет, не успевают, то, глядя из оркестровой ямы на Принца, таскающего по сцене возлюбленную, они тоскливо подпевали знаменитому заключительному адажио из балета «Щелкунчик»:

Мы-ы о-по-зда-ли в гастроно-ом!

Мы-ы-ы о-по-зда-ли в гастроно-о-ом!

После выступления членов ГКЧП по телевизору Олег Трудович был в недоумении. Особенно ему не понравились дрожащие руки вице-президента Янаева.

«Нет, власть трясущимися руками не берут!» – усомнился Башмаков.

А ведь поначалу он чуть было не принял все это за появление долгожданного Карабаса-Барабаса с кнутом. Но оказалось, это тоже куклы – суетливые, глупые, испугавшиеся собственной смелости куклы!

Башмаков очень удивился, не обнаружив среди гэкачепистов Чеботарева. Лишь через несколько лет, наткнувшись в еженедельнике «Совершенно секретно» на мемуары кого-то из «переворотчиков», он узнал, что Федор Федорович с самого начала требовал решительных действий, вплоть до кровопролития. Мемуарист даже приводил слова Чеботарева: «Если сейчас эту болячку не скovyрнем, потом захлебнемся в крови и дерьме!» Далее бывший путчист, доказывая миролюбивость своих тогдашних намерений, объяснял, что из-за этой-то кровожадности Чеботарева в последний момент и не взяли в ГКЧП... Писал он и о странном самоубийстве Федора Федоровича, застрелившегося на даче вскоре после Беловежского договора. В его забрызганной кровью знаменитой зеленой книжечке нашли запись:

Не хочу жить среди мерзавцев и предателей.

Но тогда, слушая «Лебединое озеро», Башмаков ничего этого не знал, а просто каким-то шестым чувством ощущал: творится какая-то большая историческая бяка.

Позвонил Петр Никифорович:

– Слышал, чеписты-то каждому по пятнадцать соток обещают! Наверное, и прирезать теперь разрешат!

Тесть давно пытался прирезать к шести дачным соткам еще кусочек земли с лесом, но, несмотря на все свои связи, никак не мог получить разрешение.

– Наверное... – согласился Олег Трудович.

– Может, и порядок наведут? – мечтательно предположил Петр Никифорович.

– Может, и наведут, – не стал возражать Башмаков.

Потом пришла усталая Катя и сообщила, что, судя по всему, Горбачеву – конец, потому что эту заваруху устроил именно он, чтобы свалить обнаглевшего Ельцина. А теперь сидит, подкаблучник, в Форосе и ждет...

– Это кто же тебе сказал? – полюбопытствовал Олег Трудович.

– Вадим Семенович.

– А он-то откуда знает?

– Он историк.

Слово «историк» было произнесено по-особенному, с благоговением, причем благоговением, распространяющимся не только на профессиональные достоинства Катиного педагогического сподвижника, но и на что-то еще. Однако тогда Башмаков на подобные мелочи внимания не обращал.

В ту, первую ночь путча, разогретый выпитым, он придвинулся к Кате с супружескими намерениями и получил усталый, но твердый отпор.

– Почему?

– Потому.

– Потому что демократия в опасности?

– При чем здесь демократия? Я устала...

Жена уснула, а Башмаков еще долго лежал и вспоминал про то, как они с Ниной Андреевной однажды собирались «поливать цветы» и вдруг объявили по радио, что умер Андропов. Это было в самом начале их романа, и с утра башмаковское тело нежно ломало от предвкушения долгожданных объятий. Но Чернецкая вызвала его в беседку у Доски почета и сказала:

– Знаешь, давай не сегодня...

– Почему? Тебе нельзя?

– Неужели не понимаешь? Такой человек умер...

И самое трогательное: он согласился с ней, даже устыдился своего неуместного вождения. Золотой народ они были, золотой!

В ту переворотную ночь, разволновавшись от бессонных воспоминаний, Олег Трудович встал с постели, пошел на кухню, осторожно открыл холодильник и шкодливо съел сырую сосиску. Когда он возвращался под одеяло, то услышал странный лязгающий гул, доносившийся со стороны шоссе.

В Москву входили танки.

На следующий день, к вечеру, в квартиру вломился возбужденный Каракозин и, задышавшись, сообщил, что сегодня ночью обязательно будут штурмовать Белый дом, а отряд спецназа ищет Ельцина, чтобы расстрелять. Докукин с Волобуевым-Герке заняли омерзительно выжидательную позицию, но у него в багажнике «Победы» два топорика, которые он снял с пожарных щитов в «Альдебаране».

– Ну и что? – пожал плечами Башмаков.

– Как что? Пошли!

– Зря ты волнуешься. По-моему, они уже опоздали в гастроном, – заметил Олег Трудович, имея в виду гэкачепистов.

– Какой еще гастроном? Олег Трусович, ты зверя во мне не буди! Пошли! Я тебе дам топор.

– К топору зовешь? – Башмаков, побряхывая, поднялся с дивана и покорно потек спасать демократию.

Шел дождик. «Победу» бросили возле зоопарка. Завернув топорики в ветошь и натянув куртки на головы, друзья побежали к Белому дому. Миновали серые конструкции Киноцентра. Свернули с улицы Заморенова на Дружинниковскую и помчались вдоль ограды Краснопресненского стадиона.

Вокруг оплота демократии шетинились арматурой баррикады. Темнели угловатые силуэты палаток. Горели костры. Только что с козырька здания выступал Станкевич, и народ еще не остыл от его пламенной речи. Друзья потолкались в толпе и набрели на кучку, собравшуюся вокруг плечистого парня, который объяснял защитникам, что в случае газовой атаки следует тотчас повязать лицо тряпкой, намоченной в содовом растворе.

– Говорят, еще мочой хорошо? – спросил кто-то из толпы.

– Мочой очень хорошо! – кивнул инструктор.

Дождик затих. Потом сидели у костра. Юноша в кожаной куртке и майке с надписью «Внеочередной съезд Союза журналистов СССР» включил транзисторный приемник и поймал радио «Свобода». Диктор из своего европейского далека со знанием дела сообщил, что на сторону народа перешел автомобильный батальон под командованием капитана Веревкина. Послышался гул моторов, и репортер спросил с задушевым акцентом:

– Господин Веревкин, почему вы выбрали свободу?

Знакомый ворчливый голос ответил, что выбрал он свободу исключительно по личным убеждениям и еще потому, что трижды писал в ГЛАВПУР о злоупотреблениях своего непосредственного начальника подполковника Габунии, а в результате сам получил выговор и был обойден званием...

– Скажите, господин Веревкин, армия вся с Ельциным?

– Конечно. И с народом тоже...

Снова из приемника донесся гул моторов и крики: «Ельцин! Россия!..» Но вдруг все это утонуло в завывающем треске, сквозь который прорвался на мгновение голос Нашумевшего Поэта:

*Свобода приходит в майчонке,
Швыряя гранату под танк...*

– Глушат, сволочи! – рассердился журналист.

– Ну и правильно глушат. Врут они там все, – отозвался работяга в нейлоновой ветровке. Он сидел, подставив ладони теплу, и пламя рельефно высвечивало его широкие бугристые ладони.

– Нет, не врут. Они с нами! – объяснил журналист, махнув тонкопалой лапкой.

– А зачем им с нами-то? – удивился работяга.

– А затем, что они хотят, чтобы у нас тоже была демократия!

– А зачем им, чтобы у нас тоже была демократия?

– Они хотят, чтобы во всем мире была демократия.

– А зачем им, чтобы во всем мире была демократия? – не унимался работяга.

– Глупый вопрос! – пожал плечами журналист.

– Не глупый.

– Да что ж ты, дядя, такой бестолковый! – взорвался Джедай, с возмущением слушавший этот диалог.

– А вот ты, толковый, скажи мне: когда во всем мире демократия победит, кто главным будет?

– Никто!

– Не бывает так, – возразил работяга.

– Да пошел ты...

– Нет, погодите, надо человеку все объяснить! – заволновался журналист. – Вы хоть понимаете, что будет, если победит ГКЧП?

– Что?

– Прежде всего не будет свободы слова. Вам ведь нужна свобода слова?

- Мне? На хрена? Я и так все прямо в лицо говорю. И начальнику цеха тоже...
- А на партсобрании вы тоже говорите то, что думаете?
- Я беспартийный...
- Так чего же ты сюда приперся? – снова взорвался Джедай.
- Надоел этот балабол меченый со своей Райкой! Порядок нужен, – угрюмо сказал работяга. – Порядок!
- Это какой же порядок? Как при Сталине? – взвился журналист.
- Как при Сталине. Только помягче...
- Да ты... Ты знаешь, что возле американского посольства наших ребят постреляли? Знаешь? Ты хочешь, чтобы всех нас к стенке?!
- Ничего я не хочу. А ребятам вашим не надо было БМП поджигать. Вот вы в каких войсках служили?
- Я в этой армии не служил и служить не собираюсь! – гордо объявил журналист.
- Понятно.
- Я служил. В десанте, – ответил Джедай. – Ну и что?
- Я – в артиллерии, – сообщил на всякий случай Башмаков.
- А я танкист, – сказал работяга. – И когда у тебя броня горит, ты от страха в маму родную стрельнешь!
- Вот я и чувствую, что ты в маму родную готов стрелять ради порядка! – с каким-то непонятым удовлетворением объявил журналист.
- А ты маму родную заживо сожрешь за свою хренову свободу слова! – скрипучим голосом ответил работяга.
- А вот за это ты сейчас... – Журналист поднялся с ящика, расправляя девичьи плечи и взглядом ища поддержки у Джедая.
- Э, мужики! – вступился Башмаков. – Кончайте, мужики!
- Но драки не получилось. Взлетела, ослепительно осыпаясь, красная ракета, запрыгали, упираясь в низко нависшие тучи, белые полосы прожекторов. Усиленный мегафоном голос потребовал, чтобы все отошли на пятьдесят метров из сектора обстрела. Появился инструктор в камуфляже. Он собирал бывших десантников и тех, кто говорит по-азербайджански.
- А почему по-азербайджански?
- Азеров на штурм погонят. Чуркам ведь все равно, кого резать.
- Да здравствует Россия! – громко крикнул журналист.
- Ну, началось! – радостно объявил Джедай.
- Он развернул ветошь и протянул Башмакову пожарный топорик. Олег Трудович взял его в руки и внутренне содрогнулся от того, что топорик был весь красный, будто в крови. Он, конечно, тут же вспомнил, что на пожарном щите все инструменты, даже ведро, выкрашены в красный цвет, но все равно не мог отделаться от тошнотворной неприязни к топорнику.
- Через несколько минут дали отбой.
- Журналист и работяга после всей этой предштурмовой суеты к костру больше не вернулись. Зато возник чахлый юноша с исступленным взором. Он стал жаловаться, что его не взяли в группу переводчиков. А зря! Ведь он в минуты особого вдохновения, выходя мысленно в мировое информационное пространство, может говорить на любом земном языке и даже на некоторых космических наречиях.
- А сейчас можешь? – спросил, заинтересовавшись, Джедай.
- Могу.
- Скажи что-нибудь!
- Чахлый выдал несколько странных звуков – что-то среднее между тирольской руладой и русской частушкой.
- И где же так говорят?

– Если бы сегодня было звездное небо, я бы показал! – вздохнул юноша.

Вообще в толпах защитников попадалось немало странных людей. Какая-то старуха металась меж костров с плакатиком, на котором были написаны группы крови Ельцина, Хасбулатова и генерала Кобеца. Она записывала доноров на случай, если кого-то из вождей ранят. А исступленный юноша ближе к утру, подремав, смущенно сознался в том, что он – инкарнация академика Сахарова, и предсказал, заглянув в общемировое информационное пространство, неизбежную победу демократии.

Еще несколько раз объявляли тревогу и давали отбой. Прошелестел слух, что Ельцин укрылся пока в американском посольстве. Прошла вереница людей со свечками. Это был молебен за победу демократии. Потом кто-то разболтал, будто какой-то банкир прямо из кейса раздает защитникам Белого дома доллары. Пока Джедай бегал искать банкира, появились кооперативщики и принялись раздавать бесплатную выпивку с закуской.

– Много не пейте! – предупреждали они. – А то руки трястись будут, как у Янаева!

Прошли и медики в белых халатах:

– Больных, раненых нет?

– Откуда раненые? А что, есть и раненые?

– Пока, слава богу, нет... Алкогольные отравления. Ну, обмороки и нервные припадки, в основном у женщин...

Посыпался мелкий дождь. Где-то запели: «Из-за острова на стрежень...» Еще дважды объявляли, что к Белому дому движется колонна танков и прямо вот сейчас начнется штурм. Раздали даже бутылки с зажигательной смесью.

– У тебя есть спички? – спросил Башмаков.

Джедай кивнул, достал из кармана и проверил зажигалку. Мимо прокатили коляску с Верстаковичем. Председатель Народного фронта узнал Джедая и послал ему почему-то воздушный поцелуй. Потом был отбой и через пять минут новое страшное сообщение о бронеколонне, движущейся к Белому дому.

– Колонна слонов из зоопарка к нам движется! – пошутил Джедай.

Среди ночи помчались к набережной смотреть на приплывшую баржу. Это профсоюз речников перешел на сторону Ельцина. По пути наткнулись на совершенно пьяных журналиста и работягу. Обнявшись, они невразумительно спорили о том, кто будет самым главным, когда победит демократия.

Баржа была старенькая и проржавевшая.

– Смотри, Олег Термитыч, что твои коммуняки за семьдесят лет с «Авророй» сделали! – сказал громко Джедай.

И вся набережная захохотала.

Ближе к утру откуда-то примчалась инкарнация академика Сахарова и, задыхаясь, сказала, что путч провалился, а ГКЧП в полном составе улетел в Ирак к Саддаму Хусейну.

– К Саддаму? Он их к себе в гарем возьмет! – подхватил Джедай.

К рассвету демократия окончательно победила. Кричали «ура». Прыгали от радости. Скандировали: «Ельцин! Россия! Свобода!» Размахивали флагами, среди которых, к удивлению Башмакова, преобладали украинские «жовто-блакитные». Снова появились кооперативщики – с ящиками шампанского. Молодые парни в стройотрядовской форме танцевали у костра «семь сорок».

– Ребята, вы что – сионисты? – весело спросил Джедай.

– Нет, мы просто евреи! – радостно смеясь, ответили они.

Красная джедаевская «Победа», вся в дождевых каплях, одиноко стояла возле зоопарка.

– Ты хоть понимаешь, что случилось, Олег Турбабаевич? – спросил он, убирая в багажник красные топоры.

– Не понимаю, – искренне сознался Башмаков.

Он и в самом деле толком ничего не понял. Зачем Горбачев запирался в Форосе, а потом, как погорелец, обернувшись в одеяло, со своей всем осточертевшей Раисой Максимовной спускался по трапу самолета? Неясно было и с путчистами: почему не послушались Федора Федоровича? Чего они боялись? И почему ничего не боялись их супротивники?

Потом, когда по телевизору крутили наскоро слепленные победные хроники, Башмакова поразил один сюжет: на танке стоит Ельцин в окружении соратников и призывает сражаться за демократию, не щадя живота своего. И у всех у них, начиная с самого Ельцина и заканчивая притулившимся сбоку Верстаковичем, отважные, веселые, даже озорные глаза. Они говорят о страшной опасности, нависшей над ними, но сами в это не верят. Не верят: у них веселые глаза! А у тех, кто стоит в толпе и слушает, глаза хоть и с отважинкой, но все же испуганные. Даже у бесшабашного Каракозина, попавшего в кадр и очень этим гордившегося. Все это было странно и непонятно...

– А что говорит ваш великий Вадим Семенович? – спросил Башмаков Катю.

– Вадим Семенович смеется и говорит, что это не путч, а скетч!

Вскоре после путча неутомимый Джедай придумал «Праздник сожжения партийных билетов». Возле Доски почета сложили большой костер из собраний сочинений основоположников да разных отчетов о съездах и пленумах, зря занимавших место в альдебаранской библиотеке. Пока бумага разгоралась, с речью выступил специально приглашенный по такому случаю Верстакович. Сидя в своей коляске, он говорил о том, что этот вот костер во дворе «Альдебарана» символизирует очистительный огонь истории, сжигающий отвратительные и позорные ее страницы. Тоталитаризм – мертв. И это счастье, потому что тоталитаризм не способен по-настоящему освоить космическое пространство. Лишь теперь, с победой демократии, в России настает поистине космическая эра! В заключение Верстакович предложил всем собравшимся дать клятву на верность демократии.

– Повторяйте за мной! Клянусь в трудные для Отечества времена не жалеть сил, а если потребуется, и самой жизни ради утверждения на нашей земле свободы, равенства, братства и гласности!

Его лицо выражало в этот торжественный момент особое, безысходное вдохновение, какое в кинофильмах обычно бывает у наших партизан, когда им на шею накидывают петлю. Закончив клятву, Верстакович не удержался и куснул ногу.

Костер разошелся. Ключья пепла, похожие на угловатых летучих мышей, петлисто взмывали в небо. Каракозин, закрывая от жара лицо рукой, первым приблизился к пламени и бросил в пекло свою красную книжечку. Следом ту же процедуру повторил Докукин – лицо его при этом было сурово и непроницаемо. Третьим вышел Чубакка. Выбросив билет, он даже несколько раз потер ладони друг о друга, точно стряхивал невидимые глазу коммунистические пылинки. Потом повалили остальные: членов партии в «Альдебаране» хватало. Волобуев-Герке отсутствовал по болезни, но прислал жену со своим партбилетом и кратким заявлением о полном слиянии с позицией коллектива. Башмаков на всякий случай кинул в пламя досаафовский документ, издали чрезвычайно напоминающий партбилет. Потом Докукин отвел его в сторону и очень тихо сказал:

– Ты правильно сделал, что сжег. Горбачев предал партию. Ельцин – американский шпион. Говорю тебе это как коммунист коммунисту. Уходим в подполье.

Праздник набирал силу. Народ выпил, стал водить хороводы вокруг огня и петь:

Взвейтесь кострами, синие ночи.

Мы пионеры, дети рабочих...

Когда костер догорел и стемнело, принялись прыгать через слоистую огнедышащую грудку пепла. Жена приболевшего Волобуева-Герке даже подпала подол платья и очень смеялась.

Настроение у нее было, как на Ивана Купалу, и, выпив, она стала вешаться на Каракозина, но Джедай давно уже ко всем женщинам, кроме Принцессы, испытывал брезгливое равнодушие. Тогда она начала приставать к Верстаковичу, но ей дали понять, что женщинами он по инвалидности не интересуется. В конце концов активная дама увлекла в ночь Чубакку. И долго еще из-за стриженных кустов доносились ее опереточное хихиканье и его оперное покашливание.

А через несколько дней Башмакову приснился странный сон: будто бы он пошел в кукольный театр, но почему-то не с Дашкой, а с Катей. И что совсем уж некстати, сестрицу Аленушку играла его знакомая кукловодка. Поначалу он сидел как ни в чем не бывало, даже держал жену за руку, но вдруг на него накатило страшное, необоримое, чудовищное вождление. Башмаков шепотом отпросился у Кати якобы в туалет, а сам, дрожа от возбуждения, побежал к служебному выходу на сцену, потом долго плутал меж кулис и наконец увидел актриску с куклой. Башмаков тихо подкрался сзади, обнял и стал целовать кудрявый, пахнущий карамельным шампунем затылок. Она, испуганно оглядываясь, попыталась вырваться, но при этом продолжала вести безутешную сестрицу Аленушку над краем ширмы и говорить смешным кукольным голоском:

- Где же мой братец Иванушка? В какой стороне-стороншке? Вы, ребятки, не видели?
- Его гуси утащили! Гу-уси-ле-ебеди! – подсказывали дети из зала.

Тем временем Башмаков трясущимися руками задрал ей юбку, разорвал ненадежные ажурные трусики и, урча от страсти, пытался справиться с возмущенно увертывающимися бедрами. Но, бурно сопротивляясь, артистка не забывала и про свою роль:

- Яблонька-яблонька, не видала ли ты моего братца?

В этот момент Башмаков, изловчившись, достиг наконец желаемого. Артистка продолжала возмущаться бедрами, однако теперь это было как бы и не сопротивление, а, наоборот, изощренное соучастие в грядущем восторге, который мушиной лапкой уже щекотал самый краешек неугомонной башмаковской плоти.

- Тебе хорошо? – спросил он.
- Печка-печка, ты не видала моего братца? – ответила она.
- Скажи, тебе хорошо, скажи? – задыхаясь, настаивал Олег Трудович.
- Птичка-птичка, ты не видала моего братца?
- Ска-ажи-и-и! – закричал Башмаков, чувствуя, как останавливается сердце, холодеют виски и по телу разбегаются тысячи щекотных мушиных лапок.

- А тебе-то, Тунеядыч, хорошо? – отозвалась вдруг она рокочущим контральто.

Ее голова со скрипом повернулась на сто восемьдесят градусов – и вместо пахнущего карамельным шампунем кудрявого затылка Башмаков увидел перед собой огромное кукольное лицо, грубо слепленное из ярко раскрашенного папье-маше: шарнирная челюсть двигалась вверх-вниз, а стеклянные глаза вращались в разные стороны. Олег Трудович вспотел от ужаса, поняв, что совокуплен с огромной куклой, матерчатое тело которой набито мертвой ватой, и только лоно для достоверности выстлано нежным скользким шелком. Он страшно закричал, попытался высвободиться, но безуспешно.

– Не уходи! – приказала она, и нежный шелк превратился в неумолимо сжимающиеся стальные тиски.

Но не это было страшнее всего: кукла, управлявшая безутешной сестрицей Аленушкой и поначалу принятая Башмаковым за актрису, тоже приводилась в движение другой куклой. Еще более огромной. А та в свою очередь третьей, а третья – четвертой... И так до бесконечности. Основание этой чудовищной, с Останкинскую башню, пирамиды уходило далеко вниз и терялось в черных, подсвеченных рыжим огнем недрах. Олег Трудович, всегда боявшийся высоты, закрыл лицо руками. От падения его теперь удерживали только сжимавшиеся тиски кукольной похоти. Вдруг кукла заплакала и забилась, точно Нина Андреевна, потом затихла и грустно прошептала:

– Вот и все, Тапочкин, теперь мне хорошо... А где же все-таки мой братец Иванушка? Тиски разжались – и Башмаков с воплем полетел вниз, в черно-рыжую клубящуюся преисподнюю...

– Тапочкин, – удивилась поутру Катя. – Тебе, оказывается, еще снятся эротические сны?

– Политические... – вздохнул Олег Трудович.

Вскоре к ним заехал Петр Никифорович – он был раздавлен. Во время путча ему позволил начальник и как бы вполсерьеза порекомендовал послать от имени трудового коллектива Ремжилстройконторы телеграмму в поддержку ГКЧП. Взамен он пообещал несколько коробок самоклеющейся немецкой пленки. Простодушный Петр Никифорович, который, как и большинство, в душе сочувствовал ГКЧП, не посоветовавшись ни с Нашумевшим Поэтом, ни с композитором Тарикуэлловым, взял и отбил эту неосмотрительную телеграмму. После победы демократии начальник снял тестя с должности за связь с мятежниками, а назначил на освободившееся место мужа своей двоюродной сестры. И не было никаких торжественных проводов на пенсию, почетных грамот и ценных подарков. Спасибо в Лефортово не уpekли!

– А ведь он у меня паркетчиком начинал, – сокрушался Петр Никифорович, имея в виду вероломного начальника. – Я ж ему, сукину коту, рекомендацию в партию давал, в институте восстанавливал, когда его за драку выгнали... В прошлом году финскую ванну и розовый писсуар за здорово живешь поставил. Неблагодарность – чума морали!

Башмаков распил с тестем последнюю бутылочку из месячной нормы и стал высказывать недоумение по поводу всего произошедшего в Отечестве. Изложил свою кукольную теорию и даже собирался (конечно, в общих чертах) пересказать странный сон, но Петр Никифорович перебил его и, кажется впервые обойдясь в трудной ситуации без хорошей цитаты, сказал:

– Никому, Олег, не верь! Суки они все рваные...

Через восемь месяцев он умер на даче, читая «Фрегат “Паллада”». Сначала возил навоз с фермы, а потом прилег на веранде отдохнуть с книжкой. Отдохнул...

На похоронах не было никого из его знаменитых творческих друзей. Даже Нашумевший Поэт не приехал, зато прислал из Переделкина телеграмму-молнию со стихами:

СВ. ПАМЯТИ П. Н.

*Когда уходит друг,
Весь мир, что был упруг,
Сдувается, как шарик.
Прощай, прощай, товарищ!*

Через несколько лет Башмаков случайно наткнулся в газете на эту же самую эпитафию, но уже посвященную «светлой памяти композитора Тарикуэллова». И уже совсем недавно по телевизору Нашумевший Поэт попрощался при помощи все тех же строчек с безвременно ушедшим бардом Окоемовым.

Денег на похороны и поминки едва наскребли: жуткая инфляция еще в начале 92-го за несколько недель сожрала то, что тесть праведными и не очень праведными трудами копил всю жизнь. Выручил Гоша, за месяц до смерти Петра Никифоровича воротившийся из Стокгольма. Хоронили тестя бывшие его подчиненные – сантехники, столяры, малярши, штукатурицы, паркетчики. Они очень хвалили усопшего начальника, но постоянно забывали, что на поминках чокаться нельзя. Потом хором пели любимые песни Петра Никифоровича, приплясывали и матерно ругали новое хапужистое руководство Ремжилстройконторы.

Теперь, оглядываясь назад, Башмаков часто задумывался о том, что Бог прибрал тестя как раз вовремя: стройматериалов вскоре стало завались, возник евроремонт, вместо розовых чешских ванн появились четырехместные джакузи. А друзья Петра Никифоровича, гиганты

советского искусства, очень быстро обмельчали. Им теперь не до евроремонтов – на хлеб не хватает. Даже Нашумевший Поэт, если верить телевизору, зарабатывает тем, что преподает литературу в каком-то американском ПТУ на Восточном побережье.

Но там, там, в раю, куда попал, несмотря на мелкие должностные проступки, Петр Никифорович, непременно царит (не может не царить!) чудесный, вечный, неизбывный дефицит строительных, ремонтных и сантехнических материалов, дефицит, охвативший всю ойкумену и все сущие в ней языки. И незабвенный Петр Никифорович после отмотра рабочей копии нового фильма дает творческие советы великому Федерико Феллини, а тот кивает:

«Си, си, амико! Ты, как всегда, прав!»

15

Эскейпер снова посмотрел на часы, снял телефонную трубку и набрал Ветин номер. Нежный женский голос с приторным сожалением сообщил, что абонент в настоящее время не доступен, и попросил перезвонить позже. Потом то же самое было повторено по-английски.

– Била-айн!

Странно! Сколько можно сидеть у врача? Сейчас все это просто делается: да – да, нет – нет... Может, к отцу заехала попрощаться и отключила «мобилу»? Странно... Однако жизнь научила Башмакова никогда не волноваться заранее и не тратить попусту драгоценные нервные клетки. Правда, теперь точно доказано, что нервные клетки восстанавливаются-таки – но все равно их жалко! Он решил перезвонить Вете через полчаса и уж потом, если ситуация не прояснится, начать тревожиться и что-то предпринимать. Пока же самое лучшее – продолжать сборы. Ничто так не отвлекает от неприятностей, как сборы в дорогу. Это знает любой эскейпер.

Еще только продумывая будущий побег, Башмаков решил непременно забрать с собой всю одежду. Нет, он не собирался тащить на Кипр это старье. Просто было бы негуманно оставлять брошенной жене свое барахло как наглядное свидетельство неверности и вероломства. Чего ж хорошего, если несчастная женщина рыдает над стареньким свитером сбежавшего мужа? А почему, собственно, он решил, что Катя будет рыдать? Может быть, она быстренько-быстренько утешится с каким-нибудь новым Вадимом Семеновичем – и тот станет разгуливать по его, башмаковской, квартире в его, башмаковском, махровом халате и в его, башмаковских, тапочках на меху.

Нет, это недопустимо – ни рыдания, ни чужое разгуливание в его, башмаковских, тапочках!

Олег Трудович полез на антресоли и начал рыться в пыльном хламе, испускающем непередаваемый, чуть пьянящий запах прошлого. Боже, сколько на антресолях оказалось совершенно никчемных, но абсолютно невыбрасываемых вещей! Старые вещи напоминают чем-то выползни. Человек ведь тоже вырастает – из одежды, из книг, из вещей и время от времени сбрасывает все это, как змея, линяя, сбрасывает шкурку. Но в отличие от пресмыкающихся человек не бросает выползни где попало, а складывает в шкафах, чуланах, сараях, на чердаках и антресолях...

Впрочем, если бы змеи были существами разумными, то, конечно, тоже не выбрасывали бы бывшие шкурки, а бережно хранили их как память о прошлом. И в этой змеиной цивилизации существовала бы, наверное, целая индустрия, производящая специальные ларчики, футляры, шкафчики для сброшенных шкурок. Вот, к примеру, маленькая розовенькая корбочка – подарок детенышу к самой первой линьке. А вот футлярчик побольше, украшенный крылатой ящеркой с луком и стрелами, – это для первой совместной линьки змеиных молодых. Большой красивый шифоньер, где шкурки висят, как рубашки, на специальных плечиках с бирочками для дат, обычно преподносится уходящим на пенсию заслуженным пресмыкающимся. Ну хорошо... А куда в таком случае деваются шкурки после смерти хозяев? Скорее всего, хранятся у родственников или кладутся рядом с усопшим в гробик, узкий и длинный, как футляр для бильярдного кия. А может быть, наоборот: все выползни собирают в особом научном центре, где ученые – очкастые кобры – бьются над проблемой воскрешения отцов и оживления шкурок...

Но эскейпер так и не решил, куда деваются шкурки усопших разумных гадов, ибо в этот момент нашел то, что искал, – баул из брезента. В него при желании можно было вместить комплект обмундирования для мотострелковой роты. Эту огромную сумку со съемными коле-

сами изобрел Рыцарь Джедай и изготовил в двух уникальных экземплярах, когда они начали «челночить».

А что еще оставалось делать? В 92-м финансирование «Альдебарана» резко срезали, научную работу свернули, а зарплату не повышали, хотя тех денег, на которые раньше можно было жить месяц, теперь хватало на несколько дней. Как выразился однажды Джедай, инфляция – инфлюэнца экономики. Докукин, правда, сдал один из альдебаранских корпусов под страховое общество «Добрый самаритянин».

Сыпавшееся здание сразу же отреставрировали, устлали коврами, утыкали кондиционерами, обсадили голубыми елями, а компьютеры и прочую оргтехнику завезли такую, что Башмакову, работавшему все-таки не на наркомат коневодства и гужевого транспорта, а на космос, подобное оборудование даже не снилось. Скопившиеся у подъезда иномарки охранялись специальными громилками в камуфляже – и на территорию «Альдебарана» теперь стало попасть сложнее, чем в прежние режимные времена.

Докукин поначалу регулярно проводил собрания трудового коллектива и обстоятельно, со скорбными подробностями рассказывал про то, что денег, получаемых за аренду корпуса, с трудом хватает даже на элементарные нужды НПО. Он, надо заметить, сильно изменился, и прежде всего изменилось положение бровей на его широком красном лице: в прежнее, советское, время они были сурово сдвинуты к переносице, а теперь стояли трагическим домиком. Голос тоже преобразился – из командного превратился в устало-просительный:

– Надо, надо, товарищи, думать над смелыми конверсионными проектами! Не мы с вами этот рынок придумали... Но в рынке жить...

– По-рыночьи выть! – подсказал из зала Джедай.

– Вот именно. Надо прорываться! Говорю это вам... совершенно ответственно! Например, очень перспективна идея производства биотуалетов для дачных домиков, а также фильтров для водопроводной воды, в которой теперь жуткое количество самых чудовищных примесей. Мы, например, с женой из крана давно уже не пьем!

И действительно, вскоре были разработаны и изготовлены фильтр «Суперросса», а также образец биотуалета «Ветерок-1» – изящное обтекаемое изделие из мраморного пластика. Оба приспособления хранились в директорском кабинете. И Докукин во время переговоров с предполагаемыми партнерами или инвесторами торжественно указывал пальцем на «Ветерок-1» и говорил:

– Это – наше будущее!

А нервных сотрудников, пришедших к нему на прием по личным вопросам, он отпаивал исключительно отфильтрованной водой. Но массовое производство биотуалетов и фильтров все как-то не налаживалось...

Первое время директора слушали развесив уши, верили каждому слову. Потом, когда у него появился новенький «Рено», а жену кто-то в городе заметил в «Хонде» с шофером, народ зароптал и во время очередного собрания поинтересовался, откуда такая роскошь, если в «Альдебаране» нет денег на писчую бумагу для научных отчетов. Первым, как всегда, высочил Рыцарь Джедай и напрямки спросил, на какие шиши директор нищего НПО купил себе пятикомнатную квартиру на улице Горького?

Собрание возмущенно зашумело, и следом за Каракозиным выступили еще несколько правдолюбцев, добавивших к сказанному разоблачительные сведения о том, что начальство строит себе дачу в Загорянке, а летом ездит всей семьей в Тунис... Кто-то даже ностальгически вспомнил Шаргородского с его тремя невинными старенькими холодильниками на скромной дачке. Ангел был, просто-напросто седокрылый ангел в сравнении с этим живоглотом! Недолго думая, решили выгнать Докукина из директоров прямо тут же, на собрании, но председательствовавший Волобуев-Герке осторожно заметил, что это невозможно по причине отсутствия кворума и некоторых особенностей устава закрытого акционерного общества, в которое

к тому времени превратился «Альдебаран». Бывшего парторга сначала не хотели слушать, и прежде всего из-за того, что у него самого недавно появилась новая «девятка». Однако Джедай, нахмурившись, распорядился:

– Без кворума наше решение будет недействительно. Найдем юриста и подготовимся. Собираемся через неделю и гоним его к чертовой матери! А материалы направляем в прокуратуру!

Докукин слушал все это, не возражая, не перебивая, не оправдываясь и только грустно-грустно глядел на своих гневных обличителей, точно провидчески знал про них нечто очень и очень печальное. Так оно и оказалось: всех правдолюбцев на следующий день уволили по сокращению штатов. Заступиться было некому: ни профкома, ни тем более парткома в «Альдебаране» давно уже не было. Не тронули только Каракозина, учитывая его заслуги перед демократией и личные связи с высоко взлетевшим Верстаковичем.

Впрочем, народ и сам от такой жизни стал разбегаться. Первым уехал за границу по контракту Чубакка: у его жены, несмотря на бдительность кадровиков, нашлись родственники в Америке. А вскоре в кабинет к Башмакову зашла Нина Андреевна и положила на стол заявление – по собственному желанию.

– Ты? – удивился Олег Трудович. – И куда же?

– Омка в университет будет поступать. Нужен репетитор по английскому. Я устроилась «гербалайф» распространять. Они процент с выручки платят.

– Ну как знаешь... – Он поставил резолюцию для отдела кадров.

– Ты помнишь мою записку? – вдруг, густо покраснев, спросила Чернецкая.

– Конечно.

– Хорошо, что помнишь... Помни, пожалуйста!

– Значит, ты меня еще не простила?

– Нет, не простила.

Нина Андреевна пошла к дверям, но на самом пороге остановилась и оглянулась. Их глаза встретились, и в перекрестье возникло размытое розовое облачко, очень отдаленно напоминающее два тела, мужское и женское, завязанные в тугую узел любви.

Потом закрыли весь отдел. Объясняться Башмаков отправился один, потому что горячий Джедай обещал набить директору морду прямо в кабинете. Докукин грустно выслушал обличительно-умоляющую речь и вздохнул:

– Прав. Прав! Но ты думаешь, это мне твой отдел не нужен? Нет, это им, – он показал пальцем вверх, – не нужен. Мы все им не нужны. Им вообще ничего, кроме власти и баксов, не нужно! Это же враги. Враги! Они специально все разваливают. Ты еще не понял?

– А как же подполье? – с еле заметной иронией осведомился Башмаков.

– Эх, Олег, если бы ты знал, – обреченно вздохнул Докукин, – в каком я теперь глубоком... подполье. Глубже не бывает. Единственное, что мы можем сейчас, – сделать так, чтоб не все им, вонючкам демократическим, досталось! А там будем посмотреть... Давай лучше выпьем! Текилу уважаешь?

Больше о делах они не говорили. Директор со знанием дела объяснял, как нужно пить текилу: ее, заразу кактусовую, оказалось, положено зализовать солью, закусывать лимоном и запивать томатным соком – в противном случае это никакая не текила, а просто-напросто хренотень из столетника. Томатного сока, впрочем, не оказалось, и запивали фильтрованной водой. Докукина быстро развезло, Башмакова, впрочем, тоже – они стали вспоминать райковские времена и даже тихонечко спели:

Красный пролетарий, шире шаг!

Красный пролетарий, выше стяг!

Красный пролетарий, не дремлет враг!

Наступает время яростных атак!

Вспомнили и зеленую книжечку незабвенного Федора Федоровича Чеботарева, поговорили о его странном самоубийстве.

– Мы пойдем другим путем! – заверил Докукин. – Нет никаких денег партии. Это все вранье! Мы их должны заработать, понимаешь, Олег! За-ра-бо-тать! Говорю это тебе...

Но тут дверь резко, как от удара ногой, распахнулась, и без всякого секретарского уведомления в кабинет ввалились три «добрых самаритянина» – чернявые, кавказистые мужики. Один постарше, с животом навывкат, а двое других – высоченные молодые качки в кожаных куртках. Докукин сразу вжал голову в плечи и с трудом изобразил на лице деловитую радость. Уходя, Олег Трудович по обрывкам гортанного, на повышенных тонах, разговора уловил, что речь идет о казино, и разместить его собираются как раз в том самом флигеле, где располагается сейчас его, башмаковский, отдел.

– Все! Пошли к Верстаковичу! – постановил Каракозин.

Но легко сказать – пошли. Две недели Джедай названивал в приемную, и милый девичий голосок отвечал одно и то же: идет совещание.

– А кроме совещаний, у вас еще что-нибудь бывает? – взорвался он на третью неделю.

– Конечно! Переговоры...

– Так вы запишите, что Каракозин звонил. Каракозин, председатель Комитета научно-технической интеллигенции в поддержку перестройки и ускорения! КНТИППУ...

– ...ПУ... Уже записала. Не волнуйтесь, вам перезвонят!

Перезвонили на пятую неделю:

– Аркадий Ильич вас ждет. Завтра в 14.15.

Сначала они долго томились в приемной, наблюдая, как два здоровенных охранника охмуряют ту самую телефонную секретаршу. Кроме милого голоса у нее оказались длиннющие ноги и стенобитный бюст.

– Нетухлые дела у этого инвалида, – проскрипел Каракозин. – Смотри, каких «шкафандров» себе завел!

– Да и секретутка ничего! – добавил Башмаков, который после ухода Нины Андреевны вдруг остро затомился своим затянувшимся моногамным одиночеством.

– Высоко забрался, – покачал головой Джедай.

Ходили слухи, что к Верстаковичу нежно относится сам президент. Однажды после бурного митинга и совещания в узком кругу Ельцин очень сильно устал, так устал, что вели его буквально под руки, и Верстакович, случившийся поблизости, догадался уступить ему свою инвалидную коляску. Ельцину очень понравилось, как его с ветерком подкатили к ожидавшей машине, – и он запомнил предупредительного инвалида.

– Проходите, господа, – прошебетала секретарша, – Аркадий Ильич ждет вас!

– Мы не господа! Мы товарищи по борьбе! – гордо поправил ее Джедай.

Верстакович принял их в просторном кабинете с зачехленной казенной мебелью пятидесятых годов и длиннющим полированным столом для заседаний. Лишь японский телевизор с экраном в человеческий рост, трехцветный флаг да большая фотография президента на теннисном корте напоминали о новых временах. Бывший лидер Народного фронта даже вышел из-за стола и, опираясь на инкрустированную серебром трость, слабо пожал посетителям руки.

– Рад видеть боевых соратников! – устало улыбнулся Верстакович. – Проходите, не стесняйтесь! Скучновато тут, конечно, после баррикад, но ничего не поделаешь.

– Да ты и тут забаррикадировался – еле к тебе прорвались! – по-свойски пошутил Каракозин.

Чуткий Башмаков тут же отметил про себя, что шутка и особенно свойская интонация не понравились.

Верстакович был одет в модный двубортный костюм, изысканная бесформенность и элегантная обмятость которого стоили, вероятно, немалых денег. Волосы были явно уложены парикмахером, а брови – и это просто потрясло Башмакова – аккуратно пострижены.

– Чай? Кофе? Коньяк? – спросил Верстакович, усадив гостей и дав указания секретарше. – А вы знаете, кто здесь раньше сидел?

– Троицкий! – недобро предположил Каракозин.

– Не-ет... Тут был один из кабинетов Берии. Ирония истории! Так с чем пришли?

Он рассеянно, но не перебивая слушал их жалобы и постукивал по столу розовыми детскими пальчиками. Башмаков заметил, что ногти у него теперь ухожены и даже покрыты бесцветным лаком. Несколько раз по старой привычке Верстакович механически приближал их ко рту, но в последний момент спохватывался. Тем временем секретарша принесла кофе и коньяк, а шефу персонально на серебряном блюдечке – продолговатую оранжевую пилюлю и стакан воды. Башмаков взял рюмку – на него пахнуло настоящим, давно забытым коньячным ароматом.

– «Старый Тбилиси». Двадцать лет выдержки. Президент Гамсахурдия прислал.

– Если бы тебе еще президент Назарбаев жареного барашка прислал! – с мечтательной издевкой вздохнул Джедай.

Башмаков под столом аккуратно наступил на ногу Каракозину, но тот сделал вид, будто не понимает этого товарищеского знака.

– За великую Россию! – провозгласил Верстакович, чокнулся с друзьями минеральной водой и, морщась, запил таблетку. – Ну-с, продолжайте!

Постепенно, по ходу рассказа, его личико стало мрачнеть – и он сделался похожим на инфанта, взвалившего на себя, несмотря на отроческий возраст, тяжкий груз государственных забот. Один раз Верстакович не удержался и грызнул-таки розовый отполированный ноготь.

– Все, что вы говорите, очень правильно, – молвил наконец он. – Но давайте сначала разберемся с нашей многострадальной Россией. Канализация сегодня важнее космонавтики! Люди смертны, а космос вечен. Номенклатура этого не понимала. А мы, демократы, понимаем! Мы не можем больше платить за будущее судьбами тех, кто живет сегодня! К тому же космос, давайте наконец сознаемся, принадлежит всему человечеству. В сущности, не важно, кто первым ступит на тот же Марс – россиянин или американец. Главное, чтобы это был счастливый и свободный человек...

Верстакович посмотрел на них торжественно и даже с некоторым недоумением: почему никто не записывает его вещи слова?

– Чепуху ты городишь! – взорвался Каракозин, хотя за секунду до этого выглядел совершенно спокойным. – Даже коммуняки соображали, что космос...

– Что-о?! Не понял... – Аккуратные брови Верстаковича поползли вверх, а лилипутские пальчики куда-то под стол.

– Что ты не понял, гнида двубортная?! Ты что нам говорил тогда, у костра? Забыл?! Напомнить?!

Но ничего напомнить Джедай не успел – в кабинет уже входили «шкафандры», и на их тупых лицах было написано угрюмое торжество ресторанных вышибал,ждавших наконец своего вождьленного скандалиста...

– Ну и козлы же мы с тобой, Олег Тундрович! – только и сказал Каракозин, получив выходное пособие, которого едва хватило на бутылку водки.

– Попрошу не обобщать! – усмехнулся Башмаков: на его пособие можно было, кроме водки, купить еще и закуску. – Ты теперь куда?

– Буду двери обивать. А ты?

– Пока не знаю.

Он и в самом деле не знал. Поначалу ему казалось, новая работа найдется легко и сама собой, как это случалось прежде. Но потом вдруг выяснилось: никто нигде не нужен, а если и нужен, то зарплата такая мизерная, что не окупает даже стоимость проездного билета. И Олег Трудович впервые в жизни остался без работы. Это было совершенно особенное состояние, не имевшее ничего общего с отпускным богдыханством или выжидательным бездельем, когда переходишь с одной службы на другую. Он чувствовал себя белкой, которая много лет старательно крутилась в колесе – и вдруг ее выпустили в вольер.

По утрам Катя и Дашка уходили в школу, а Башмаков спал до истомы, потом медленно завтракал, спускался в газетный киоск и покупал несколько газет – от ярко-красных до бело-голубых, затем в ларьке заправлял трехлитровую банку дешевым разливным пивом и возвращался домой. Лежа на диване и потягивая скудно пенящийся кисловатый напиток, он читал газеты, до скрежета зубовного упиваясь извивами борьбы оппозиции с демократами, что, по сути, больше походило на борьбу тупых правдоискателей с умными мерзавцами. Далее Башмаков переходил к разделам происшествий и читал о выкидыше, найденном в мусорном баке и якобы успевшем пискнуть перед смертью «мама, за что?!», о восьмидесятилетней старушке, зарубившей мясным топориком своего молодого сожителя за то, что тот отказался выполнять супружеские обязанности, о девочках-подростках, изнасиловавших участкового милиционера, или о самоубийце, упавшем из окна семнадцатого этажа прямо на карету «Скорой помощи»...

Потом Олег Трудович включал телевизор и смотрел все подряд: фильмы, рекламу, висторины, последние известия. Он замечал, как стремительно советский угрюмо-членораздельный диктор вытесняется с экрана косноязычными, но бойкими парубками и нервными дивчинами с такой внешностью, что в прежние времена их не взяли бы даже в самодеятельность интерната для лиц с расстройствами речи. Наблюдательный Башмаков, кстати, заметил: наиболее достоверная информация сообщается днем, когда большинства людей нет дома. Он сам с собой заключал пари, повторят или нет честное сообщение вечером, и был очень доволен, если сам у себя выигрывал.

Иногда позванивал Каракозин и бодрым голосом спрашивал:

– Ну что, Трутневич, устроился?

– Нет, бездельничаю. А ты?

– А я теперь железные двери намастырился ставить.

– Боятся?

– Или! Я тут вчера одному врубал. Шестикомнатная квартира в цековском доме. Мебель антикварная. На стене два Бакста и Коровин. Я спросил: «Это Бакст?» А он мне: «Хрен его знает – жена брала. Но стоит до хренища!» Водкой торгует...

– М-да... Как Принцесса?

– На работу устроилась. Больше меня заколачивает.

– Моя тоже.

– Ну пока, бездельничай дальше!

Нет, Башмаков не бездельничал – он бездействовал, и бездействовал по идейным соображениям, ощущая себя жертвой какой-то чудовищной несправедливости. Несправедливость эта была настолько подлой и умонепостижимой, что такое мироустройство просто не имело права на существование и не могло продержаться сколько-нибудь долго. Оно должно было непременно рухнуть, а из его обломков возникнуть светлый и справедливый мир, в котором Олег Трудович снова мгновенно обретет годами заработанное достоинство. Только нужна обломовская неколебимость, нельзя суетиться, устраиваться и приспособливаться к этой несправедливости, искать в ней свое новое место, ибо любой человек, сжившийся с ней и вжившийся в нее, становится как бы новой заклепкой в несущих конструкциях этого постыдного сооружения – тем самым увековечивая его.

Так Башмаков и покоился на диване, иногда поглядывая на свое отражение в висевшем напротив овальном зеркале и подмигивая двойнику: мол, мы их с тобой перележим!

Катя очень сочувствовала Башмакову, но однажды, глядя его по голове и успокаивая, сказала:

– Ты не переживай, ладно? Все будет нормально. У меня работа есть. Денег пока хватает... Хорошо, Тунядыч?

Автоматически употребив это давно уже ставшее полуласкательным прозвище, она вдруг осеклась, осознав его новый, унижительный смысл:

– Ой, прости – я совсем не в том смысле!

Дашка однажды получила в школе большой пакет с гуманитарной помощью, куда вместо пепси-колы по ошибке втюхали литровую банку просроченного немецкого пива «Бауэр». Она отдала пиво Башмакову. Но он его не выпил, а установил на серванте, как памятник своей ненависти к новому мировому порядку, и, глядя на эту омерзительную гуманитарную помощь, всякий раз вскипал праведным гневом. Пиво случайно маханул Труд Валентинович, захавший проведать внучку.

Потом Катя как-то принесла домой толстенную Библию, которую ей выдали на общегородском семинаре учителей-словесников. Книга была в мягкой обложке и внешне напоминала телефонный справочник, наподобие тех, что в европах лежат в каждой телефонной будке. На черной обложке желтела подпечатка: «Подарок от Миссии Тэрри Лоу. Продаже не подлежит».

Покоясь на диване, Олег Трудович попытался читать Библию. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену...» Очень похоже на операцию по изъятию генетического материала. Даже под наркозом! «И закрыл то место плотию...» Пластическая хирургия. Честное слово, пластическая хирургия! Довольно долго соображал Башмаков, на ком же мог жениться Каин, прикончив Авеля, – если на земле еще фактически люди не водились? На неандерталочке, что ли? Но в таком случае все это очень хорошо вписывается в одну теорию, которую Олег Трудович вычитал в «Науке и жизни». Мол, разум зародился путем скрещивания космических пришельцев (а что такое изгнание из рая, как не улет с родной планеты?) с представителями безмозглой земной фауны.

Когда пошла Священная история, Башмаков заскучал. Картина вырисовывалась мрачно-однообразная. Все цари и все народы – исключительные мерзавцы, существующие лишь для того, чтобы напакостить маленькому, но гордому Авраамову племени. А те в свою очередь, если появлялась возможность, должок возвращали с такой лихвой, что кроввица хлестала во все стороны – и оставались только младенцы, не помнящие родства, да девы, не познавшие мужиков. Все это напоминало Башмакову школьный учебник истории. Там тоже на каждой странице молодая советская республика победно изнемогала в кольце империалистических живоглофов. И изнемогла-таки...

Он с трудом дошел до Египетского плена и убедился, что Борис Исаакович, споря со Слабинзоном, был абсолютно прав: не так уж и хреново жилось евреям на берегу Нила. Башмакову даже стало обидно за египтян. Жабами их, бедняг, заваливали, песьих мух и саранчу напускали, тьмой египетской стращали, серебришко-золотишко экспроприировали, первенцев изничтожали... В общем, довели до полного кошмара, и все лишь ради того, чтобы фараон отпустил евреев в Землю обетованную. И чего не отпускал, тормоз, а все сердцем, видите ли, ожесточался? Доожесточался...

Как-то раз Башмаков смотрел по телевизору передачу про президента Чечни генерала Дудаева. Фильм сделала популярная тележурналистка Вилена Кусюк. Голос у нее был странный – вдохновенно-писклявый. И уж как она радовалась за Дудаева и многострадальный чеченский народ, уж как радовалась! Кстати, потом эту Кусюк в Чечне похитили, насильничали и потребовали за нее большой выкуп. В Москве прогрессивная рок-интеллигенция устроила

несколько благотворительных концертов, обратилась за помощью к банкирам, собрала деньги и выкупила несчастную Вилену. Нашумевший Поэт написал по этому поводу балладу «Кавказская полонянка». Правда, ходили еще подлые, клеветнические слухи, будто Кусюк нарочно договорилась с одним полевым командиром и они как бы сообща разыграли похищение, чтобы подзаработать...

Но это произошло позже, а тогда, глядя писклявый фильм про Дудаева, Башмаков вдруг подумал о том, что если когда-нибудь чеченцы отделятся от России и заживут своим собственным горным суверенитетом, то обязательно напишут новую всемирную историю. Через две тысячи лет эту историю найдут, отряхнут пыль и выяснят: оказывается, огромный Русский Египет ошалел от песьих мух и развалился исключительно потому, что во время войны с Немецким Египтом фараон Сталин Первый, обвинив горцев в предательстве и пособничестве фараону Гитлеру Первому, выселил их из кавказских палестин и рассеял черт знает где. Но в конце концов чеченцы назло врагам воротились в свою родную Ичкерия, размножились и отомстили русско-египетским мерзавцам. Точнее, отомстил за них белобородый чеченский бог в высокой шапке из серебристого каракуля и с гранатометом на плече...

«И увидел Он, что это хорошо!»

Башмаков, заскучав, отложил Библию. Недели две он читал в основном американские детективы, в которых гиперсексуальные суперагенты героически глумились над тупыми кагэбэшниками, спавшими исключительно с заветными томиками Ленина. Черт знает что! А ведь было время, братья Вайнеры казались Олегу Трудовичу глуповатыми. Да они по сравнению с этим американским дерьмом – гиганты, братья Гонкуры!

Однажды Башмаков купил на лотке несколько брошюрок – руководства по сексуальному мастерству (тогда они появились вдруг в страшном количестве) и, читая, с удовлетворением отмечал, что ко многим изыскам и приемам пришел совершенно самостоятельно. Впрочем, кое-что он из брошюрок позаимствовал, но попытки применить эти новшества к Кате, возвращавшейся с работы нервно-усталой или равнодушно-расслабленной, успеха не имели.

Особое впечатление произвела на него переводная книжица под названием «Бюст и судьба», повествовавшая о зависимости характера женщины от формы ее груди. Прежде всего Башмаков определил, что Катина грудь относится к типу «киви». У Нины Андреевны, как он сообразил, грудь имела форму «спелый плод», что означало прекрасный характер, нежную душу, незаурядный ум и ненависть к однообразию. Несколько раз он хотел набрать номер Нины Андреевны, чтобы сообщить ей об этом, но всякий раз, мысленно выстроив возможный разговор, не решался. Два дня он мучительно припоминал, какой же формы была грудь у Оксаны – его первой любви. Наконец вспомнил – «виноградная гроздь». А это, согласно брошюре, – непостоянство, болезненный эротизм, а также использование секса в целях обогащения. И ведь чистая правда!

Потом несколько дней Олег Трудович пребывал в задумчивости, вспоминая бюсты женщин, которых ему доводилось раздевать, и постепенно пришел к выводу, что теория, предложенная автором, в целом подтверждается практикой, хотя бывают и жуткие несоответствия. Например, у кукольной актрисы груди имели форму яблок, что предполагало в ней бурный темперамент, какового Башмаков так и не обнаружил... Полеживая и поскребывая по сусекам своего любовного опыта, Олег Трудович тоже пытался сочинить новую классификацию женских существ.

Время шло. Башмаков продолжал лежать без работы, а новый миропорядок все не рушился. Выходя в воскресенье прогуляться, он уже привычно просил у Кати на пиво или специально вызывался зайти в гастроном, а на сдачу покупал себе кружку-другую. Вся околоречная общественность была ему хорошо знакома, и, подходя к киоску, по выражению лиц он мог определить, откуда сегодня завоз – с Бадаевского, Останкинского или Московского

экспериментального. Разговаривали, как и положено светским людям, о политике, погоде и домашних животных, включая жен.

Катя сначала как бы не обращала на это внимания, потом, пересчитывая сдачу, только хмурилась и наконец стала выдавать мужу деньги по списку – копейка в копейку, а точнее, учитывая инфляцию, сотня в сотню. Перед уходом на работу жена могла теперь, если была не в настроении, совершенно серьезно прикрикнуть:

– Тунеядыч, ты меня слышишь?

– М-да? – откликнулся Башмаков, приспособившийся спать до полудня, так как до глубокой ночи смотрел телевизор на кухне.

– Пропылесосишь большую комнату и вытрешь пыль!

– В моей комнате тоже. А Куньку больше не пылесось, – добавляла Дашка. – Она и так уже без шерсти!

– Если не сделаешь, Тунеядыч, – говорила Катя, нажимая на обидный смысл прозвища, – останешься без ужина!

– Салтычиха! – выстанывал Башмаков и прятал голову под подушку.

– И только попробуй поехать к Каракозину!

Ужин он, конечно, получал, но Катя была строга и становилась строже день ото дня. Однажды вечером они лежали в постели, и Башмаков рассеянно пошарил по Катиному телу, что на их интимном языке означало вялый призыв к супружеской близости.

– Знаешь, – сказала она, перехватывая и отводя его руку, – в Америке жены за это берут с мужей деньги.

– В валюте?

– Естественно.

– А в России как раз наоборот! – засмеялся Олег Трудович и снова попытался проникнуть к Кате.

– Значит, так, Тунеядыч! – рявкнула она, вскочив с постели, и впервые слово «Тунеядыч» прозвучало точно приговор районного суда. – Значит, так: хватит бездельничать! Поедешь с Гошей в Варшаву!

– Не был спекулянтом. И никогда не буду!

– Поедешь с Гошей! Деньги я займу. Все!! – отрубил Катя и легла к Башмакову спиной, надежно подоткнув одеялом любые возможные подступы к своему оскорбленному телу.

Башмаковский шурин Георгий Петрович вернулся из Швеции незадолго перед смертью Петра Никифоровича. Точнее, его выгнали из посольства и отправили на родину. Должность у Гоши была вроде бы плевая – электротехник посольского комплекса, но на самом деле служил он специалистом по подслушивающим устройствам – «жучкам». В общем, тихо-спокойно охранял государственную тайну, так же как охранял ее и посольский садовник, говоривший на трех языках и стрелявший по-македонски.

Вдруг из Москвы по замене прибыл новый консул – молодой, модный, энергичный и весь какой-то томно-несоветский. Вскоре консул вызвал Гошу к себе и потребовал установить в кабинете посла «жучки», мотивируя это тем, что посол – в отдаленном прошлом первый секретарь крайкома, не справившийся с модернизацией сельского хозяйства, – нелояльно настроен к новой демократической власти в Кремле. Это была полная чушь, ибо посол, как и сам Гоша, принадлежал к тому типу людей, которые лояльны к любой власти по той простой причине, что она – власть. Более того, посол, третий партийный кадр, заранее учуяв назревающие перемены в Москве, в отличие от многих своих коллег, не поддержал ГКЧП. Но не поддержал как-то вяло, без воодушевления и номенклатурного трепета. Этого, очевидно, ему и не простили. Прибытие нового консула посол воспринял со смирением – так, наверное, древние наместники встречали гонца с султанским подарком – ларчиком, где таился шелковый шнурок или склянка яда.

Вот ведь как прежде наказывали за нарушение должностной инструкции или неуспешное руководство вверенным регионом! А теперь? Насвинячит человек так, что всю страну от Смоленска до Курил протрясет лихоманкой, а ему на кормление – какой-нибудь Фонд интеллектуального обеспечения реформ, а его – в членкоры, да еще все время в телевизор тащат: мол, Сидор Пантелеймонович, посоветуйте, как жить дальше! (Эскейпер чуть не плюнул с досады.) А отдуваются за чужую дурь другие, мелкота – вроде Гоши.

Многоопытный Гоша, конечно, почувствовал, что новый консул дал ему этот чудовищный приказ не случайно, что таково на сегодняшний день расположение кремлевских звезд. Однако, повинуясь более могучему инстинкту, он аккуратно отказался выполнять приказ, сославшись на инструкцию, а главное – на отсутствие прецедентов. Консул нехорошо засмеялся, назвал его педантом и отрывкой тоталитаризма, а на следующий день вызвал садовника.

Через месяц посла отозвали в Москву и отправили на пенсию на основании рапорта, в котором садовник подробно описывал перипетии скоротечного, но бурного романа стареющего дипломата с популярной исполнительницей русских народных песен Сильвой Каркотян, приехавшей в Швецию на фестиваль «Сирены фьордов». Посольский кабинет, естественно, занял консул, успевший к тому времени вступить в открытую интимную связь с третьим секретарем полпредства – свеженьким выпускником МГИМО. Садовник же из посольского общежития перебрался в Гошину служебную квартиру, ибо башмаковского шурина тоже отправили домой, дав на сборы всего неделю.

О, это была страшная жестокость, ведь обычно загранслужащие начинают готовиться к возвращению на родину и в моральном, и в материальном смысле примерно за полгода, а то и за год. Упаковать нажитое и докупить облюбованное – дело, требующее денег, нервов, изобретательности, но главное – времени, а его-то как раз и не было. Однако Гоша с женой Татьяной путем невероятного напряжения всех духовных и физических сил с этой задачей за неделю справились.

Гоша, уже лет двадцать бывавший в Отечестве отпускными набегам, а последние три года и вообще из экономии не приезжавший домой, был потрясен произошедшими переменами и особенно тем, что телевизор с утра до вечера хает КГБ – организацию, к которой башмаковский шурина имел неявное, но непосредственное отношение. Не радовало и исчезновение магазинов «Березка», где на зависть согражданам, не работавшим за границей, можно было в прежние времена за чеки купить массу чудесных дефицитов. И уж совсем повергал в недоумение тот факт, что валюта – а за нее еще недавно сажали в тюрьму – стала теперь заурядным средством межчеловеческого общения. Более того, появились бритоголовые парни в малиновых пиджаках, тратившие за один вечер в ресторане с девочками столько, сколько Гоша, разводя в Швеции «жучков», зарабатывал за полгода. А Татьяна была просто уничтожена, когда, надев свой лучший наряд, купленный в Стокгольме на самом фешенебельном сейле, она явилась в гости к Башмаковым и услышала от Кати, что точно такой же костюм за сорок шесть долларов продается в магазине «Дом книги» в букинистическом отделе.

В довершение несчастий их контейнер со всем добром, следуя из Швеции морем, затерялся где-то в таллинском порту. Гоша отправился в столицу свежесуверенного государства на поиски своего имущества, нажитого тяжким трудом, но эстонские чиновники, вдруг все как один разучившиеся говорить по-русски, только молча пожимали плечами. И лишь один молодой, не по-эстонски горячий полицейский, на несколько минут вспомнив язык оккупантов, сказал:

– У вас украли какой-то контейнер, а вы украли у моей страны пятьдесят лет свободы!

– Лично я вашу свободу не крал! – оторопел Гоша.

– И я лично ваш контейнер не крал! – ответил эстонец и перешел на угрофинские рулады.

Вернувшись в Москву из Таллина, Гоша запил вчерную. Конечно, трезвенники в посольской колонии были редкостью, но пили тихо, не вынося на суд общественности хмельные вос-

торги и огорчения. А тут Гоша дорвался. Особенно он любил, накукарекавшись, отправиться в стриптиз-бар и, мстя судьбе за сломанную карьеру, за утраченное имущество, за низкий рост, за раннюю лысину, поить дорогим шампанским рослых стриптизерок. В Стокгольме, боясь компромата, он на стриптизе ни разу не был.

Поначалу домой он приходил сам. Позже его стали приносить. Когда кончились деньги, в ход пошли шмотки, из-за которых пьяный Гоша дрался с женой. Не сумев в одной из потасовок отбить шубу из опоссума, купленную на рождественской распродаже с фантастической скидкой, Татьяна тоже запила. Японский телевизор они уже относили на продажу вместе. В их квартире царил настоявшийся смрад гармонического семейного пьянства.

Единственный, кто мог остановить все это безобразия, – Петр Никифорович, уже полгода как лежал на Востряковском кладбище. Отчаянные попытки тещи спасти сына и невестку оказались безрезультатными, и тогда кончать с этой жутью отправилась Катя, прихватив с собой для убедительности Башмакова. Но дело завершилось тем, что Олег Трудович, доказывая Гоше пагубность алкоголя и провозглашая тосты за трезвость, сам напился до состояния, близкого к невесомости.

Татьяна остановилась первой, обнаружив вдруг, что ей, тридцатисемилетней, в пьяном угаре удалось сделать то, что не удавалось в течение многих лет под контролем опытных врачей и при относительно здоровом образе жизни, а именно – зачать ребенка. Зато Гоша, узнав про наклонившегося наследника, не только не остановился, а на радостях надал еще. И тогда на семейном совете его решили лечить. Выискали по объявлениям надежного психонарколога и собрали деньги. В клинику страждущего повезли сообщая.

Психонарколог, двухметровый мужик с волосатыми руками зубодера, голосом шталмейстера и взглядом деревенского колдуна, сначала долго выслушивал многословные объяснения родственников, а потом поворотился к мучительно трезвому Гоше и спросил:

– Георгий Петрович, ну что мне с вами делать – кодировать или торпедировать?

– Кодировать! – в один голос вскрикнули теща и Катя.

– По-моему, торпеда надежнее! – высказался рассудительный Башмаков.

– Я это учту! – кивнула Катя и обидно поглядела на не очень свежего Олега Трудовича.

Психонарколог походил вокруг Гоши и попросил его вытянуть руки – пальцы мелко дрожали.

– Да ну ее, водку проклятую! Как думаете, Георгий Петрович?

– Может, не надо, может, я сам? – взмолился башмаковский шурин.

– Конечно, сам! А мы только поможем. Чуть-чуть... – С этими словами врач уложил его на кушетку и вкатил могучий укол прямо в белый беззащитный зад. Потом усадил в кресло, дал испить из пузырька какой-то водицы, приказал закрыть глаза и начал уверять испуганного Гошу в том, что тело его расслабилось, настроение отличное и что он уже почти совсем спит.

Когда пациент смежил очи, психонарколог предупредил, что сейчас начнет считать – и Гошины руки сами собой, без всякого усилия поднимутся вверх. И действительно, на счет «раз» пальцы, подрагивая, оторвались от подлокотников, на «два» медленно поползли вверх. По мере того как врач считал, Гошины руки плавно поднимались, пока не коснулись лба, при этом лицо оставалось безмятежным и задумчивым, точно он видел какой-то загадочный сон.

Как только ладони достали лба, психонарколог прекратил счет и начал страшным голосом рассказывать о том, какая жуткая гадость водка, как она разрушает печень, почки, мозг и лишает мужчину заветной силы. (В этом месте шурин сквозь сон улыбнулся.) А когда врач объявил, что теперь каждая клеточка Гошиного организма возненавидит алкоголь, даже пиво и забродивший квас, пациент тревожно нахмурился. Потом его руки под мерный счет гипнотизера медленно вернулись на подлокотники.

– Проснитесь! – рявкнул психонарколог.

Гоша открыл глаза, и Башмаков, к своему изумлению, прочел в них непреодолимое желание напиться сразу же после выхода из кабинета.

– Ну вот вы и здоровы! Вам хорошо. Алкоголь вам больше не нужен! – заулыбался врач и добавил ленивым канцелярским голосом: – Распишитесь вот тут! С правилами ознакомлен, претензий не имею и так далее...

– Зачем? – предчувствуя беду, спросил Гоша.

– А чтобы, дорогой Георгий Петрович, меня в тюрьму не посадили, если вы все-таки выпьете и помрете...

– Как это умрет? – всплеснула руками теща.

– Неужели умирают? – ужаснулся Башмаков.

– Еще как! Ведь алкоголь – яд... – охотно подтвердил врач. – До революции был даже такой случай. Один купец на спор спойл цирковому слону ведро смирновской водки – и слон умер...

– Так ведь ведро! – усомнился Олег Трудович.

– Но ведь и Георгий Петрович не слон, кажется, – объяснил психонарколог.

– Зачем же слон стал пить? – удивилась Катя.

– А зачем Георгий Петрович пьет? – в свою очередь удивился врач.

– А купец? – поинтересовалась Татьяна.

– Купца застрелил хозяин цирка. Шумная была история. Его потом еще знаменитый адвокат Плевако защищал... Расписывайтесь – и с чистой печенью на свободу!

Гоша расписался – и огонек веселого предчувствия скорой рюмки дрогнул, как пламя свечки на ветру, и тут же погас в его очах.

– В глаза! Посмотрите мне в глаза!!! – вдруг снова гипнотизерским басом заорал врач и просветлел: – Ну, вот теперь порядок.

Он открыл тумбу стола, достал оттуда початую бутылку столичной водки и граненый стакан. Наполнил его по самый край и протянул свежезакодированному:

– Выпьем, Георгий Петрович!

На Гошином лице выразился тошнотворный ужас, и, схватившись одной рукой за живот, а другой за горло, он выскочил из кабинета.

– Туалет налево! – крикнул ему вдогонку психонарколог и выпил содержимое стакана не морщась.

Закодированный Гоша очень изменился: стал говорить медленнее, по нескольку раз в день принимал душ, постоянно пересчитывал деньги в бумажнике, а главное – какую бы жидкость ему теперь ни предлагали, даже молоко, он сначала пробовал на язык и, лишь убедившись, что там нет ни капли алкоголя, допускал эту жидкость вовнутрь. Иногда, по рассказам Татьяны, ночью он вдруг вскакивал с постели в холодном поту. Гоше снился один и тот же кошмар: кто-то злоумышленно наливает ему вместо воды водку, а он по неведению выпивает...

Зато в Гоше проснулся дух предпринимательства. Он изучил конъюнктуру рынка и решил стать «челноком», дабы долгожданный младенец не начал свою ребеночью жизнь в квартире, опустошенной пагубой родительского пьянства. Татьяна, несмотря на свой недевичий возраст, беременность переносила легко, и они стали возить в Польшу товар, в основном пластмассовые цветы, которые пользовались там почему-то большим спросом, а у нас стоили копейки, ибо обезденежившим людям было не до цветов – тем более синтетических. Дело оказалось довольно выгодным: на вложенный доллар наваривалось целых три. И вскоре в квартиру вернулся телевизор, а через некоторое время и шуба, круче прежней.

Однако растущий Татьянин живот становился серьезной помехой, ибо «челночный» бизнес требовал не только крепких рук для таскания баулов, но и определенных таранных свойств тела, особенно при посадке на поезд Москва – Варшава. Гоша в своем предприниматель-

ском разбеге вдруг остался один-одинешенек, а вовлекать в бизнес постороннего человека, как потом имел возможность убедиться Олег Трудович, небезопасно.

Вот тогда Катя приказала Башмакову купить цветы и отправляться вместе с Гошей в Варшаву.

16

За воспоминаниями эскейпер сам не заметил, как набил баул одеждой. Сумка стояла посреди комнаты, раздувшаяся и накренившаяся по причине отсутствия одного колеса. Прав был Гоша: колеса в бурном «челночном» деле долго не держатся.

«Как же я такой таскал?!» – изумился Башмаков, еле отрывая баул от пола.

И вдруг его осенило, да так внезапно, что даже мошки в глазах замелькали: «А если Вета просто передумала? Ведь папаша честно предупредил: поматросит и бросит... Значит, все-таки “елка”?!»

Пребывая в состоянии лежачей забастовки против подлости бытия, Олег Трудович не только хлебал пиво и размышлял о зависимости женского характера от формы бюста, он еще на основании личного опыта изобрел собственную классификацию женщин. Весь прекрасный пол вдумчивый Башмаков подразделил на пять типов:

- женщина-«кошка»;
- женщина-«вагоновожатая»;
- женщина-«капкан»;
- женщина-«елка»;
- женщина-«кроссворд».

Когда отношения с Ветой зашли уже далеко, эскейпер попытался классифицировать свою юную любовницу согласно разработанной им системе. Но так и не смог – запутался. У Веты имелись черты и «капкана», и «елки», и «кроссворда». Молода еще, не затвердела... Хотя шалопутная Оксана, например, сосвежу была уже очевидной «кошкой». И Катя «вагоновожатой» стала очень рано, очевидно, из-за профессии. А Принцесса, наверное, родилась «елкой». Зато Нина Андреевна превратилась в «капкан» не сразу, далеко не сразу. Что же касается «кроссворда», то любая женщина старается прикинуться «кроссвордом», но в чистом и совершенном виде Олег Трудович столкнулся с этим дамским типом лишь однажды, на Общесоюзной научно-практической конференции «Химия и космос» в Ленинграде.

На пленарном заседании Башмаков уселся рядом с незнакомой дамой – неброской брюнеткой лет тридцати пяти, одетой в темно-красный с люрексом финский костюм. Костюм-то и привлек внимание Олега Трудовича: точно такой же, но только синий был у Кати, она надевала его, обычно когда ехала на совещание в роно. Изучающие взгляды, брошенные в ее сторону, незнакомка явно истолковала по-своему и начала исподтишка изучать соседа.

Башмаков уже унял радость от неожиданной встречи со знакомым фасоном и попытался вникнуть в слова основного докладчика, как вдруг от соседки повеяло знакомыми духами «Быть может...», теми самыми, какими обычно пользовалась Нина Андреевна. Олег Трудович даже вздрогнул от совпадения, вздрогнул так резко, что задел плечом брюнетку.

– Извините, – шепнул он.

– Все в порядке, – отозвалась она и поежилась, как от озноба.

Ничего, конечно, мистического в этих совпадениях не было: советские времена не баловали многообразием запахов и разнофасоньем. В вагоне метро можно было встретить сразу полдюжины дам, обрызганных одними и теми же духами и одетых в один и тот же кримплен... Как это бесило! А теперь из джунглевой чащи капиталистического изобилия та, прежняя скудость иногда кажется трогательным нестяжательством, сближавшим и даже роднившим людей.

Однажды Катя через родителя, служившего в торговле, достала мужу ондатровую шапку. Когда Башмаков надел ее вместо заношенного до неприличия китайского кролика и вышел на улицу, он почувствовал страшную неловкость перед своими торопившимися на работу кро-

ликовыми собратями, которых так вот подло предал. Теперь даже смешно вспоминать, что Кунцево, где стоит несколько цековских домов, с завистливым презрением именовали «ондатровой деревней».

– Простите, какой он имел в виду Калининград? – шепотом спросила соседка, склоняясь к Башмакову и давая возможность глубже вдохнуть незабываемый аромат духов «Быть может...».

А встреча эта случилась в ту пору, когда Олег Трудович страшно поссорился с Ниной Андреевной из-за истории с абортom, поссорился, казалось, навсегда. Он вспоминал бурные «поливы цветов» и тяжело вздыхал о невозвратном. Вздохнул он и на этот раз. Соседка вздох оценила – и ее глаза подернулись бархатным туманом. За обедом в ресторане, арендованном организаторами конференции под комплексное питание, она уже целенаправленно села рядом с Башмаковым.

– Вы поедете на экскурсию в Эрмитаж? – Дама решительно пошла на знакомство первой.

– Поеду...

В автобусе они снова оказались рядом. Башмаков, решив, что пришло время знакомиться, представился, предусмотрительно опустив отчество, и поинтересовался, как зовут даму.

– Догадитесь! – обольстительно улыбнулась она. Всю дорогу до Эрмитажа Башмаков извергал на нее потоки женских имен, а она лишь заливисто хохотала при каждой новой ошибке и мотала головой.

– Мария?

– Нет! Ха-ха-ха...

– Надежда?

– Нет! Ха-ха-ха...

– Нина?

– Нет! Ха-ха-ха...

– Сдаются?

– Сдаюсь.

– Капитолина.

– Редкое имя.

– Очень. А теперь догадитесь, откуда я приехала?

И Башмаков, которому было, в сущности, наплевать, откуда приехала эта загадочная Капитолина, начал мучительно соображать, где же на необъятных просторах говорят с этой странной щебечущей интонацией. Он даже толком не посмотрел Эрмитаж, повторяя различные географические названия, застрявшие в голове со школы или услышанные в популярной в те годы географической радиопередаче про Захара Загадкина.

– Мелитополь?

– Нет. Ха-ха-ха!

– Краснодар?

– Нет. Ха-ха-ха!

– Ставрополь?

– Нет. Ха-ха-ха!

Наконец он сдался, и выяснилось, что Капитолина приехала на конференцию из Тирасполя. Олег Трудович рад был уже свинтить от новой знакомой, тем более что среди участниц заметил несколько приятных и призывно скучающих научных дам, да не тут-то было. Весь ужин под аккомпанемент «Нет. Ха-ха-ха!» он угадывал тему ее диссертации, потом породу ее собаки. После ужина для научно-технической интеллигенции устроили танцы, и Капитолина прочно повисла на Башмакове. Шаркая по паркету с этой хохочущей ношей, Олег Трудович

угадывал теперь, какой цвет больше всего ей нравится, как зовут ее любимого актера... Оказалось, Олег Видов...

– А про мое любимое мужское имя я спрашивать не буду. Ты сразу догадаешься! – многозначительно сообщила она.

Башмаков с удивлением заметил, что они уже на «ты», а ее головка доверчиво лежит на его плече. В перерыве Олега Трудовича отозвал в сторону сосед по номеру, здоровенный мужик с Урала, и сообщил, что едет к родственникам в Сестрорецк и вернется только к утреннему заседанию. Уходя, он поощрительно подмигнул.

После танцев, как и следовало ожидать, общение было перенесено в номер. И вот когда Башмаков, вознаграждая себя за бесконечное отгадывание, добрался наконец до большой и мягкой Капитолининой груди, она вдруг спросила:

– Отгадай, сколько у меня детей?

– Двое!

– Нет. Ха-ха-ха!

И уже в самый сокровенный момент, когда он, сломив короткое смешливое сопротивление, ритмично осуществлял супружескую измену, она приникла к его уху горячими губами и, прерывисто дыша, спросила:

– Отгадай, сколько у меня было мужчин?

Именно в этот момент у Олега Трудовича возникло странное ощущение, что ему удалось совместить две вещи несовместные – разгадывание кроссворда и занятие любовью.

Проснулся Башмаков один – развороченная постель остро пахла духами «Быть может...». Тело, от новизны изрядно перенапрягшееся, поламывало. Завтрак уже кончился. Напившись остывшего чая, Олег Трудович поспешил в зал заседаний и обнаружил Капитолину на трибуне. Она была сдержанна и серьезна, а ее доклад – на удивление толков. Потом ей задавали вопросы, и из ответов Башмаков выяснил, что его смешливая подружка руководит довольно крупным производством. Сойдя со сцены, Капитолина села рядом с ним и тихо спросила:

– Догадайся, о чем я думала, когда читала доклад?

Башмаков, мудро усмехнувшись, шепнул ей на ухо свое предположение.

– Да! Ха-ха-ха... Как ты догадался?

Расставаясь, Олег Трудович дал ей свой рабочий телефон и взял обещание, что, если будет в Москве, она обязательно позвонит. И она позвонила где-то через полгода:

– Алло! Это – я...

– Кто? – не сообразил Башмаков, замотанный годовым отчетом.

– Догадайся!

Он, конечно, догадался, но от встречи постарался уклониться. Только что состоялось примирение с Ниной Андреевной, возобновились «поливы цветов», ему был никто пока не нужен, да и не хотелось напрягаться, отгадывая бесконечные Капитолинины загадки.

Впрочем, женщина-кроссворд утомительна, но не опасна. В отличие от женщины-елки. Эта – страшное дело! Женщины-елки, особенно после того, что Принцесса сотворила с Джедаем, вызывали у Олега Трудовича ненависть. Стоит, понимаешь ли, такая разряженная «елка» посерединке – и все мужики должны водить вокруг нее хороводы, а самый-самый в красном колпаке обязан стоять под ветками наготове с мешком, полным подарков. И если в мешке подарков, не дай бог, маловато, то красный колпак отбирается, несчастный гонится прочь, а его место под ветками занимает другой – с мешком побольше. Ему-то и вручается переходящий красный колпак!

Бедный Рыцарь Джедай совсем ошалел и засуетился, видя, как непоправимо пустеет его мешок с подарками и, следовательно, он может лишиться переходящего красного колпака. А Принцесса между тем выпорхнула из блочного бирюлевского замка на простор полей, устро-

илась в турфирму «Калипсо» и самолично убедилась в том, что времена резко изменились – вокруг просто полным-полно мужиков, не знающих, куда девать свои огромные, размером вот с этот польский баул, мешки с подарками.

Каракозин страшно занервничал и совершал одну глупость за другой. Он поссорился с привередливым заказчиком и ударом ноги вышиб железную дверь, которую только-только сам же старательно установил. Из фирмы «Сезам» его выгнали. Джедай начал метаться в поисках денег, вспомнил шабашные времена и устроился каменщиком на строительство особняка где-то на Успенском шоссе. Через какое-то время он с помощью нехитрых арифметических действий уличил подрядчика в утаивании денег от рабочих, набил ему морду и снова оказался без работы. Тогда, учитывая свою склонность к силовым решениям жизненных коллизий, Каракозин поступил вышибалой в казино «Арлекино» – и поначалу все шло прекрасно. Но однажды он сгрел какого-то мозгляка. Тот так напился, что мог лишь выть по-волчьи да еще кусать проходящих мимо дам за ягодицы. Джедай отвел его в уютное место и прицепил наручниками к батарее парового отопления. Как только мозгляк протрезвел настолько, что смог связно выражать мысли, он первым делом назвал место своей работы – пресс-центр Администрации Президента – Каракозина вышибли...

Тут-то Башмаков и предложил ему за компанию отправиться в Польшу. И Джедай не только согласился, надеясь радикально пополнить мешок с подарками, но и развил такую бурную деятельность, что Олег Трудович почувствовал себя птахой, залетевшей по собственной дури в аэродинамическую трубу. На каракозинской «божьей коровке» они метались по Москве, скупая все, что могло заинтересовать взыскательного польского потребителя: пластмассовые цветы, градусники, детские игрушки, водку и, конечно, американские сигареты, стоившие во внезапно обнищавшей Москве дешевле, чем в благополучной Варшаве.

Потом все это тщательно упаковывали, прикрывая запретные сигареты и водку разными синтетическими невинностями. Казалось, Каракозин всю жизнь занимался именно этим – тогда-то он и смастерил для себя и Башмакова специальные брезентовые баулы-рюкзаки с двойным дном и съёмными колесами.

– Если наладить выпуск таких баулов, – утверждал Рыцарь Джедай, – то, учитывая все-народный размах «челночества», можно озолотиться! Хватит даже на спонсирование отечественной космонавтики!

– Ты сначала так съезди, чтоб тебе самому хватило! – хмуро заметил Гоша, которого раздражала жизнерадостная ураганность Каракозина. – А колеса тебе во время посадки отломают...

Гоша оказался прав. Колесо отлетело и пропало во время самой первой поездки.

Белорусский вокзал, куда они приехали на «божьей коровке», набитой тюками и баулами, напоминал зону срочной эвакуации: сотни людей несли, тащили, волокли, катили, перли, кантовали, толкали, пихали мешки, коробки, баулы, тележки, рюкзаки, сумки, рулоны... «Челноки» толкались, переругивались, и хотя у каждого имелся не только билет, но и заграничный паспорт, все так торопились к поезду, будто он был самым последним, спасительным, а опоздавших ждала лютая смерть. У одного мужика лопнул мешок – и оттуда посыпались сотни маленьких пластмассовых Чебурашек вперемешку с крокодилами Генами.

– А это для чего? – спросил недовольный Гоша, когда Каракозин вынул из багажника «Победы» гитару с автографом барда Окоемова.

– Для души! – весело ответил Джедай.

– Для души... Машину-то где оставишь?

– В переулке.

– Смотри – сопрут! – предупредил Гоша: после кодирования он стал очень подозрительным.

– Сядут за кражу антиквариата! – парировал Джедай.

- Может, возьмем носильщика? – предложил Башмаков, кивнув на огромные сумки.
- Сами дотащим! – отмел Гоша: после кодирования он стал очень скупым.

Когда, обливаясь потом и не чувствуя рук, они доперли багаж до платформы, штурм поезда был в самом разгаре. Вещи затаскивались через двери, впахивались в окна. Со всех сторон доносилась такая глубинная и богатая матерщина, что Башмаков сразу догадался: прозаики новой волны изучают жизнь исключительно на вокзалах во время посадки на поезд.

– Ведь и не сядем... Четыре минуты осталось! – несмотря на свой опыт, занервничал Гоша: после кодирования он стал тревожно-мнительным.

Рыцарь Джедай с полководческим спокойствием осмотрел весь этот хаос, решительно протиснулся к вагонной двери и стряхнул с подножки мужика, закатывавшего, точно жук-навозник, огромный мешок. Тот глянул на Джедая белыми от ярости глазами.

– С гитарой пропустите! – вежливо попросил Каракозин.

– Ты чево-о?! – закоричневел мужик.

– С гитарой, говорю... – пояснил Каракозин и кивнул на инструмент. – Вещь дорогая! С автографом. Пропустите, пожалуйста!

– Ты чево-о-о?!

– А ты чево-о-о-о?! – визгливо вдруг вмешалась проводница. – Не видишь, что ли, с гитарой человек, пропусти!

Через две минуты вместе со своим нешуточным багажом они уже сидели в купе, а народ все еще продолжал штурмовать поезд. Гоша огорченно оглядывал измазанный при посадке рукав куртки. Каракозин потренькивал на гитаре. Четвертым пассажиром в купе оказался интеллигентный гражданин в толстых очках. Он объявился, когда поезд уже тронулся – и платформа тихо отчалила. С его лица еще не сошел экзистенциальный ужас человека опаздывающего.

– Я, кажется, с вами, – сообщил он и глянул на компаньонов далекими печальными глазами.

– Билет покажите! – потребовал Гоша.

– Вот, извольте... А сумочку можно куда-нибудь поставить?

– Каждый пассажир имеет право быть везомым и везти ручную кладь, – наставительно подтвердил Каракозин.

Ручная кладь представляла собой набитый товаром брезентовый чехол, в котором туристы перевозят разобранные байдарки. В верхнюю багажную нишу запикивали его всем миром.

– Вот так и пирамиды строили! – предположил, отдуваясь, Башмаков.

– В следующий раз дели на две сумки! – хмуро присоветовал Гоша, снова испачкавший только что отчищенный рукав.

– Извините, – смутился очкарик, забился в уголок купе, достал из наплечной сумки книгу под названием «Перипатетики» и зачитался.

Убегающий законный – пока еще московский – пейзаж был представлен в основном личными гаражами, слеplенными из самых порой неожиданных материалов. Один, к примеру, был сооружен из больших синих дорожных щитов-указателей – и весь пестрел надписями вроде:

КУБИНКА – 18 км

АЛЕКСАНДРОВ – 74 км

ТУЛА – 128 км

СИМФЕРОПОЛЬ – 1089 км

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

– Я где-то читал, – заметил Каракозин, глядя в окно, – что в России птицы, живущие возле прядильных фабрик, вьют гнезда из разноцветного синтетического волокна. Очень красиво получается. Иностранцы за безумные деньги покупают!

– Зачем? – удивился Гоша. – У них там такие же птицы и такие же фабрики.

– Заграничные птицы давно обуржуазились и не понимают прекрасного! – тонко поддел Джедай.

– А я читал, – вмешался Башмаков, – что один человек по фамилии Зайцух построил себе дачу из пустых бутылок.

– Простите, а он случайно не родственник писателю Зайцуху? – деликатно проник в разговор очкарик.

– Не исключено, – кивнул Гоша, давно уже не читавший ничего, кроме секретных инструкций по установке «жучков» и борьбе с ними. – Одни из пустых бутылок городят, другие из пустых слов. Родственнички...

– А не выпить ли нам по этому поводу?! – предложил Каракозин.

Так и сделали. Когда доставали снедь, Башмаков подумал: а ведь по тому, как собран человек в дорогу, можно судить о его семейном положении и даже о качестве семейной жизни! Очкарик достал завернутые в фольгу бутерброды, овощи, помещенные в специальные, затянутые пленкой пластмассовые корытца. Майонезная банка с кусочками селедочки, залитыми маслом и пересыпанными мелко нарезанным луком, окончательно подтверждала: очкарик счастлив в браке. Сам Башмаков и его шурин были собраны, конечно, не так виртуозно, но тоже вполне прилично. Правда, Татьяна положила Гоше в целлофановый пакет побольше фруктов и овощей, но зато Катя снарядила мужа куском кекса, испеченного тещей. А вот Каракозин выложил на стол всего лишь обрубок докторской колбасы, половинку бородинского хлеба и выставил две бутылки водки. Это было явное преддверие семейной катастрофы.

Джедай, умело совпадая с покачиванием вагона, разлил водку в три стакана, которые перед этим с завидной легкостью получил у проводницы. Гоша смотрел на приготовления так, как парализованный центрфорвард смотрит на игру своих недавних одноклубников. А тут еще очкарик невольно подсуропил, заметив, что количество стаканов в некотором смысле не соответствует числу соискателей.

– Ничего-ничего, – успокоил Джедай. – Просто человек на заслуженном отдыхе.

Гоша с ненавистью посмотрел на Каракозина, потом с укоризной на Башмакова, а затем, чтобы не так остро завидовать чужому счастью, достал калькулятор, списки товаров, залез на верхнюю полку и углубился в расчеты.

– За что, товарищи, хотелось бы выпить? – подняв стакан, начал Джедай.

– Вы меня, конечно, извините, – мягко прервал его очкарик. – Но я не очень люблю слово «товарищ».

– Но мы же и не господа! – Башмаков даже осерчал на это занудство, оттягивающее миг счастливого отстранения от суровой действительности.

– Как же к вам прикажете обращаться? – спросил Джедай.

– Мне кажется, самое лучшее обращение, к сожалению забытое, – это «сударь»... – предложил очкарик.

– А еще лучше – «сэр»! – рыкнул сверху Гоша.

– Дорогой сударь... Простите, не знаю вашего имени-отчества... – обратился к очкарику Джедай.

– Юрий Арсеньевич.

– Так вот, дорогой Юрий Арсеньевич, я слово «товарищ» люблю не больше вашего. Кроме того, мы с Олегом Термидоровичем, – он кивнул на потупившегося от приступа смеха Башмакова, – немало постарались, чтобы эту товарищескую власть скопытить. Даже медали за Белый дом имеем. Но в данном конкретном случае никакие мы не господа, не судари, а тем

более не сэры. Мы самые настоящие товарищи, ибо объединяет нас самое дорогое, что у нас есть в настоящий момент, – наш товар. Вот я, товар-рищи, и предлагаю выпить за ум, честь и совесть нашей эпохи – за конъюнктуру рынка!

– Никогда не думал о такой этимологии, – пожал плечами Юрий Арсеньевич.

Сверху донеслось невнятное бормотание Гоши, подозрительно напоминающее неприличный синоним к слову «пустобол».

Водка сняла предпосадочную напряженность, тепло затуманила душу и сблизила.

– Что везем? – дружелюбно спросил Джедай.

– Сквородки из легких сплавов и часы ручные «Слава». Календарь, автоподзавод, на двадцати четырех камнях, – отрапортовал очкарик с готовностью.

– Неожиданное решение. Что скажет главный эксперт?! – Каракозин посмотрел на Гошу.

Тот свесился со своей верхней полки и молча глянул на Юрия Арсеньевича так, словно попутчик в этот момент закусывал не селедочкой, а собственными экскрементами.

– А в чем, собственно, дело?! – заволновался очкарик.

– Насчет сквородок не знаю – не возил. А вот часы в прошлый раз я дешевле своей цены сдал, чтоб назад не переть, – объяснил опытный Гоша. – Там наших часов столько, что уже и собаки в «котлах» ходят. Сколько везете?

– Сто, – упавшим голосом доложил Юрий Арсеньевич.

– Сами додумались или кто посоветовал?

– Посоветовали... А что же тогда идет?

– Фотоаппараты, разная оптика, медные кофеварки, цветы, сигареты, конечно...

– Цветы... Какие цветы? Живые?

– Мертвые, – обидно гоготнул Гоша.

– Что же делать?

– Теперь уже ничего...

– Да-а... Прав Хайдеггер... Проклятый «Dasein»! – вздохнул Юрий Арсеньевич.

– А Хайдеггеру вашему передайте, что он козел и дизайн тут ни при чем, – разъяснил Гоша. – Дело в конъюнктуре.

– Не волнуйтесь! – утешил расстроившегося очкарика Джедай. – Я предлагаю второй тост. И опять за конъюнктуру рынка, ибо все мы из нее вышли и все в нее уйдем! Она мудра и справедлива, ведь пока мы едем, конъюнктура рынка может и поменяться. Например, Пьер Карден выпустит на подиум манекенщицу с часами на обеих руках. И спрос страшно подскочит...

Гоша, после кодирования совершенно утративший чувство юмора, от возмущения повернулся к стенке. Выпили еще и некоторое время молча смотрели в окно: пошли уже подмосковные леса и садовые домики, тоже построенные порой черт знает из чего. Но иногда мелькали замки из красного кирпича.

– Надо же, прямо поздняя готика! – покачал головой Юрий Арсеньевич. – Интересно, какие привидения будут водиться в этих замках?

– Стенающие души обманутых вкладчиков и блюющие тени отравленных поддельной водкой, – мгновенно ответил Каракозин.

Башмаков предложил по этому поводу выпить.

– А кто такие перипатетики? – спросил он через некоторое время, кивнув на книжку, лежавшую обложкой вверх.

– Это ученики Аристотеля – Дикеарх, Стратон, Эвдем, Теофраст... – ответил очкарик.

– Попрошу не выражаться, – пошутил Джедай. – Вы философ?

– Философ.

– А по профессии?

– По профессии.

– Удивительное дело! – восхитился Каракозин. – Первый раз в жизни пью с философом по профессии.

– Аристотель говорил, что философия начинается с удивления. Я профессор. Преподавал философию в Темучинском пединституте.

– А это где?

– Темучин? Это бывший Степногорск, столица Каралукской республики.

– А что, теперь есть и такая?

– Есть, – сокрушенно вздохнул философ.

– Здорово! – обрадовался Каракозин.

– Вы полагаете? – Юрий Арсеньевич поднял на него грустные глаза.

– Конечно. По семейному преданию, один из моих предков происходит из Каралукских степей.

– Там полупустыня, – поправил философ.

– А как же вы здесь... Ну, вы меня понимаете? – спросил деликатный Башмаков.

– Это длинный и грустный рассказ.

– А мы никуда не торопимся.

Свою историю профессор рассказывал долго и подробно – почти до Смоленска, где был вынужден прерваться и сбегать в привокзальную палатку за выпивкой, потому что на сухую повествовать обо всем, что с ним случилось, не мог.

До революции на том месте, где сейчас столица суверенной Каралукской республики, был небольшой казачий поселок Сторожевой. Кочевавшие окрест каралуки изредка навевались туда, так сказать, в целях натурального обмена. В конце 20-х поблизости от Лассалья (так переименовали поселок после революции в честь знаменитого революционера) нашли ценнейшие полезные ископаемые и вскоре начали возводить единственный в своем роде химический комбинат. Строителей понаехало со всей страны – тысячи, и поселок очень скоро превратился в город. Задымили первые трубы. Каралуки иной раз подкочевывали сюда, чтобы с выгодой продать строителям пастушеские припасы. Занимались они в основном кочевым животноводством и любили рассказывать за чашей пенного кумыса легенду о том, как Чингисхан, стоя в здешней степи лагерем, чрезвычайно хвалил качество местного кумыса и девушек, трепетных, как юные верблюдицы.

Каралуки были поголовно безграмотны по той простой причине, что своего алфавита они так и не завели. Во время Гражданской войны английский резидент майор Пампкин составил, правда, на основе латиницы какой-то алфавитишко, но тут пришел Фрунзе со своими красными дивизиями, Пампкина перебросили в Китай – на том дело и кончилось. Так и остались каралуки до поры до времени неграмотными скотоводами, и комбинат называли промеж себя «Юрта Шайтана».

Во время войны в Мехлис (так к тому времени переименовали город в честь главного редактора газеты «Правда») эвакуировали оборудование сразу с нескольких взорванных при отступлении химзаводов, сюда же перебросили получивших броню от фронта специалистов-химиков с семьями. И как-то так само собой получилось, что во всем бескрайнем СССР не осталось больше ни одного завода, производящего селитру, кроме мехлисского. Доложили Сталину. Тот постоял перед картой в задумчивости, пыхнул несколько раз трубкой и молвил:

– Мехлис – столица большой химии! СССР – дружная семья народов. Будущее социализма – это кооперация и координация! А что там каралуки?

– Кочуют, Иосиф Виссарионович!

– Хватит уж, покочевали. Учить их будем, приобщать к социалистической культуре! Вот только Гитлеру шею свернем...

Так возник гигантский производственный комплекс, а в жизни кочующих каралуков наметились великие перемены. Дымил заводище. Народ прибывал и прибывал со всех концов

страны. После Победы вокруг «Юрты Шайтана» понастроили больницы, школ, домов культуры, детских садов. В это же время первые каралуки вернулись из Москвы в шляпах и пиджаках, к широким лацканам которых были привинчены синие вузовские ромбики.

А в начале 60-х в Степногорске (так переименовали город после разоблачения культа личности) открыли педагогический институт. Юрия Арсеньевича, молодого выпускника философского факультета МГУ, вызвали в райком и торжественно вручили комсомольскую путевку. Мол, надо поднимать братьев наших меньших на высоты современного знания! Наука в республике только зачиналась, специалистов было мало, и Юрия Арсеньевича включили в группу филологов, которым было поручено разработать каралукский алфавит. Конечно, главная работа легла на головы столичных лингвистов и представителей нарождающейся местной интеллигенции, но как-то так вышло, что именно Юрий Арсеньевич придумал специальную букву для обозначения уникального каралукского звука, напоминающего тот, который издает европеец, прокашливая от мокроты горло.

– Георгий Петрович, можно на секундочку вашу авторучку? – попросил философ.

– На!

Юрий Арсеньевич взял ручку и на салфетке старательно изобразил эту придуманную им букву:

Учиться, правда, каралукская молодежь особенно не хотела, предпочитая вольное кочевье, – и Юрий Арсеньевич вместе с представителями нарождающейся национальной интеллигенции ездил по стойбищам и уговаривал родителей отдавать детей в интернаты. В одном месте им сказали, что есть очень толковый мальчик, он выучился говорить по-русски, слушая радио. Приехали забирать и не могли найти – родители спрятали ребенка под ворохом шкур. Наконец нашли... Мальчик действительно оказался смышленным. Звали его довольно замысловато, и по-русски это звучало примерно так – Гарцующий На Белой Кобыле.

Двадцати шести лет от роду Юрий Арсеньевич возглавил кафедру мировой философии, где и был единственным сотрудником. Вскоре он, благодаря рейду советских танков в Прагу, женился. Как известно, в 68-м провалился заговор мирового империализма против социалистического лагеря. Для разъяснения чехословацких событий при Каралукском обкоме партии была организована специальная лекторская группа, куда, конечно, включили и единственного на всю республику философа. Читать лекции каралукам было одно удовольствие – они вообще не знали, где находится Чехословакия, а при слове «Прага» начинали хихикать, потому что почти такое же слово, только с придуманной буквой вместо «г», обозначало у них половой орган нерожавшей женщины.

А вот среди русских приходилось потрудней: многие знали, где находится Чехословакия, но почти все путали Гусака с Герексом. И уж совсем тяжело пришлось Юрию Арсеньевичу, когда он выступал с лекцией перед персоналом городской больницы. Врачи были политически грамотны и хотя благоразумно не осуждали вторжение в Чехословакию, но в душе считали, что лучше уж увеличить количество койко-мест и улучшить питание больных, чем тратить народные деньги на танковые рейды через Европу.

Особенно его достала молоденькая врач-физиотерапевт. Судя по ярко горящим глазам и пылающим от волнения щекам, она только-только приехала по распределению. Девушка попросила лектора поподробнее рассказать о преступных планах главарей так называемой «Пражской весны» и особенно об их подлом проекте «социализма с человеческим лицом». Но вот беда, все подробности чехословацких событий Юрий Арсеньевич узнавал из тех же самых газет, что и его слушатели. По сути, добавить он ничего не мог.

– Представляете, ситуация! – Философ выпил водки и обвел глазами слушателей.

– М-да, а из зала мне кричат: «Давай подробности!» – кивнул Джедай.

– И что вы думаете я сделал?

– Закрыв собрание! – буркнул сверху Гоша.

– Не-ет! Так нельзя... Когда нашу лекторскую группу инструктировали в обкоме, то предупредили: если будут каверзные и с антисоветским душком вопросы, предлагать подойти с этими самыми вопросами после лекции. Фамилии же записать...

– Неужели записали? – обмер Башмаков.

– Чего записывать-то! – хохотнул Гоша. – Там небось одних кураторов ползала было.

– Ладно, не мешайте человеку рассказывать. Продолжайте, Юрий Арсеньевич!

Итак, лектор смерил девушку внимательным взглядом и спросил:

– Простите, как вас зовут?

– Галина Тарасовна.

– А фамилия?

– Пилипенко.

– Галина Тарасовна, ваш вопрос, наверное, всем здесь собравшимся не очень интересен...

– Совсем даже не интересен! – подтвердил главврач, сидевший вместе с лектором на сцене.

– Вот видите. Так что подойдите ко мне после лекции, я вам все разъясню в индивидуальном порядке!

– А ко мне подойдите завтра после конференции, – добавил главврач. – Я вам тоже кое-что объясню.

Галина Тарасовна подошла. Они долго гуляли по прибольничному саду и говорили обо всем, кроме Чехословакии. И танки на улицах Праги, и самосожжение какого-то студента на Вацлавской площади, и протесты мировой интеллигенции, включая даже такого друга Советского Союза, как Ив Монтан, – все это вдруг показалось Юрию Арсеньевичу чепухой в сравнении с юной смуглянкой, смотревшей на него темными, словно спелые вишни, глазами. Выяснилось, что Галина всего год как окончила Киевский мединститут и сама попросилась сюда, в столицу Большой химии. А химия – это наука XXI века. Потом они сели в автобус, доехали до конечной остановки и ушли в степь...

– В полупустыню! – поправил мстительный Джедай.

– Это теперь полупустыня. Тогда была степь, – вздохнул философ.

Свадьбу гуляли в большой столовой педагогического института, а пили в основном настоящий на чабреце медицинский спирт, щедро отпущенный главврачом, очень обрадовавшимся, что история с политической незрелостью его сотрудницы разрешилась столь благополучно.

Сначала устроились в комнате общежития для семейных, а когда родилась дочь Светлана, получили квартиру прямо в центре Степногорска. И все было прекрасно – завод дымил, Юрий Арсеньевич читал студентам историю философии, жена заведовала физиотерапевтическим кабинетом, а дочь росла. Время шло – среди студентов Юрия Арсеньевича и пациентов Галины Тарасовны становилось все больше каралуков, постепенно сменивших халаты на костюмы. Однажды после лекции к Юрию Арсеньевичу подошел стройный студент и спросил:

– Вы меня не узнаете, профессор?

– Нет... Простите!

– Я же – Гарцующий На Белой Кобыле! Помните?

– Что вы говорите! Так выросли...

Юноша стал бывать у них дома. И сами не заметили, как Светлана в него влюбилась. А однажды утром, в воскресенье, раздался звонок. Юрий Арсеньевич открыл дверь и обнаружил на пороге своей квартиры ягненка с шейкой, повязанной алой тряпичкой. Прожив здесь столько лет, профессор, конечно, знал, что именно так извещают каралуки родителей невесты о серьезных намерениях своего сына. Свадьбу играли в самом лучшем ресторане города

– Юрий Арсеньевич с Галиной Тарасовной были люди небедные, а отец жениха и вообще оказался пастухом-орденоносцем.

И все шло хорошо. Даже замечательно, пока не пришел Горбачев. А ведь как поначалу радовались Перестройке! Хочешь на лекции про Ницше говорить – пожалуйста! Хочешь семинар по Кьеркегору вести – обсеминарся! Никто тебя в обком не вызовет, никто на собрании песочить не будет. Свобода! Юрий Арсеньевич решительно вышел из КПСС и вступил в партию кадетов. А его зять тем временем организовывал Каралукский национальный фронт. Фронт, едва образовавшись, тут же провел небольшой, но шумный митинг-голодовку с требованием: «Национальной республике – национального лидера!»

В Москве посоветались, убрали первого секретаря обкома, происходившего из ярославских крестьян, и прислали настоящего природного каралука, родившегося в Москве, окончившего Высшую партшколу и работавшего прежде инструктором отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Родители его перебрались в Москву еще перед войной, и по весьма неожиданной причине. В 40-м в столице проводился Всесоюзный фестиваль «В братской семье народов», и каждая республика присылала для показа в ЦПКО им. Горького свою семейную пару, одетую в национальные костюмы. Почему каралукская пара по окончании фестиваля не воротилась в родные степи, история умалчивает.

Новый первый секретарь сразу же, на собрании степногорской интеллигенции, сообщил под гром аплодисментов, что он интернационалист и важнее дружбы народов для него вообще ничего на свете нет. Вскоре русские исчезли со всех сколько-нибудь приличных должностей. И ректором пединститута, и главврачом больницы стали национальные кадры. Юрия Арсеньевича не тронули только потому, что его зять был каралук, к тому же – из рода Белой Кобылы, к коему, как выяснилось, принадлежал и новый первый секретарь.

Но жить становилось все труднее. Выяснилось, что русские ничего, кроме вреда, коренному населению не принесли: во-первых, построили проклятую «Юрту Шайтана», отравившую пастбища своими ядовитыми дымами, во-вторых, разрушили уникальный образ жизни скотоводов, в-третьих, навязали свой реакционный алфавит вместо прогрессивного алфавита майора Пампкина – и таким подлейшим образом отрезали Каралукскую республику от всего прогрессивного человечества. Более того, собственный зять Юрия Арсеньевича, ставший к тому времени советником первого секретаря (впоследствии первого президента республики), разработал доктрину, согласно которой Каралукское ханство было одним из важнейших улусов Великой империи Чингизидов, а в настоящее время является единственной ее исторической наследницей. И главная геополитическая миссия каралуков заключается именно в восстановлении империи от Алтая до Кавказа.

Дальше – больше. Оказалось, президент не кто иной, как прямой потомок великого Темучина, женившего своего внука на дочке каралукского хана. Этот исторический факт стал известен буквально на следующий день после разгрома в Москве ГКЧП. И Степногорск стал называться Темучином.

– М-да, – молвил Башмаков, вспомнив ночь, проведенную под Белым домом. – Кто бы мог подумать!

– Никто. Каралуки всегда были такие тихие и милые, – согласился Юрий Арсеньевич.

Разговаривать по-русски на улицах стало опасно. Закрывались русские школы, пединститут был переименован в Темучинский университет, а все преподавание переведено на каралукский. Юрий Арсеньевич, как и большинство, знал местный язык лишь на бытовом и базарном уровне, поэтому не смог сдать госэкзамен и остался без работы. Без работы осталась и Галина Тарасовна. А тут рухнула последняя надежда – зять бросил Светлану с двумя детьми: иметь русских жен стало неприлично и даже опасно для карьеры.

Некоторое время жили тем, что продавали нажитое – машину, дачку с участком, посуду, ковры, одежду... Потом каралуки стали выгонять русских из понравившихся квартир и отби-

рать имущество. Мужчины, пытавшиеся сопротивляться, бесследно исчезали, а милиция, состоявшая теперь исключительно из лиц кочевой национальности, разводила руками.

Химический гигант, гордость пятилеток, продали американцам, концерну «World Synthetic Chemistry», а те его тут же закрыли, чтобы не конкурировал. Тысячи людей остались без работы, причем не только русские, но и каралуки. Пошли грабежи. Не то что в степи погулять, а собаку вывести стало опасно. Впрочем, собаки тоже начали исчезать... И вот однажды, открыв утром дверь, Галина Тарасовна с ужасом обнаружила на пороге квартиры дохлую болонку с удавкой на шее. Юрий Арсеньевич достаточно долго жил здесь и знал обычаи. Это означало примерно следующее: убирайтесь прочь с нашей земли, а то и с вами будет то же, что с собакой.

Бросив квартиру, мебель и забрав только то, что можно увезти на себе, они бежали. Сначала – в Киев, к родственникам Галины Тарасовны. Но работу найти не смогли. Юрий Арсеньевич украинского не знал и со своей докторской диссертацией об античной философии вызвал у заведующего кафедрой странную реакцию.

– Так и кем все-таки был по национальности Платон?

– Греком, – удивленно ответил Юрий Арсеньевич.

– Вы уверены? А если подумать?

– Аттическим греком, – подумав, сообщил несчастный профессор.

– М-да... Инерция невежества. Запомните, не было никаких греков. Были укры, дошедшие до Балкан. Предки современных украинцев. И Платон, к вашему сведению, тоже был укрком. А кем, как вы полагаете, был Гомер?

– Вероятно, укрком...

– Верно. Но только древним укрком. Вы неплохо схватываете... Все-таки в москальской высшей школе есть некоторые достоинства. Ладно, выучите мову и приходите – возьму вас лаборантом...

Жена тоже не смогла нигде устроиться. На первом же собеседовании Галину Тарасовну спросили, как будет по-украински «аппендицит». Ответила-то она правильно, но комиссии не понравилось ее произношение.

Некоторое время жили за счет Светланы: в годы замужества она хорошо освоила каралукскую кухню, прекрасно готовила конину и устроилась поварихой в ресторан на Крещатике «Ориенталь». И все шло хорошо, пока по решению Рады не началась проверка работников общепита на знание государственного языка – и Светлану уволили.

Тогда они перебрались в Россию. Сначала жили в доме отдыха «Зеленоградский» среди беженцев. Там оказалось много каралуков. К тому времени в результате свободных выборов под эгидой ООН президентом стал кандидат из рода Гнедой Кобылы, по странному стечению обстоятельств тоже потомок Чингисхана. Победил он лишь потому, что пообещал снова пустить дым над «Юртой Шайтана» и перевести алфавит на английский, после чего ожидался большой приток инвестиций. Сторонники прежнего президента пытались с оружием в руках оспорить результаты выборов и были частично перебиты, а частично изгнаны из республики. Однако никакого дыма новый президент не пустил. Зато перешел на пампкинский алфавит, но инвестиции за этим не последовали, хотя он и получил Нобелевскую премию за неопределимый вклад в мировую культуру. Продав на сто лет вперед все разведанные месторождения тем же американцам, новый президент построил себе в степи огромный дворец с бассейнами и павлинами, вооружил гвардию новейшей техникой и стал тихо править каралуками, постепенно возвращавшимися к своему исконному скотоводчеству. На уик-энд со всей семьей президент отлетал на собственном «Боинге» развеяться в Монако или Испанию. А город Темучин тем временем приходил в упадок. Холодные многоэтажки опустели, на площадях появились юрты, вокруг бродила скотина и щипала травку на газонах. По улицам бегали оборванные немые дети.

Неожиданно в соседнем доме отдыха, переоборудованном под лагерь беженцев, нашелся бывший муж Светланы. Она, поплакав, его простила – все-таки у детей будет отец. Жизнь постепенно наладилась: Галина Тарасовна устроилась фельдшерницей в сельскую больницу, сняли старенький домик в поселке. Бывший главный технолог химкомбината, торговавший теперь на стадионе в Лужниках колготками, посоветовал Юрию Арсеньевичу и Светлане устроиться реализаторами. Устроились. Скопили немного денег и решили расширить бизнес: продавать не чужой товар, а свой, закупленный в Польше...

– Так и живем... – окончил рассказ Юрий Арсеньевич.

– Не хроневее всех живете! – заметил сверху Гоша.

Разволновавшийся философ уткнулся в окно, чтобы скрыть слезы. После Смоленска пошли белорусские болотины и перелески.

– А мы вот на космос работали, – грустно молвил Башмаков. – Я докторскую писал... Как вы думаете, почему это все с нами сделали?

– Потому что расстреливать надо за такие вещи! – гаркнул Гоша.

– Уж больно ты строгий, как я погляжу! – глянул вверх Каракозин.

– А тех, что с медалями за Белый дом, я бы вообще на фонарях вешал!

Юрий Арсеньевич долго смотрел на попутчиков – в его далеких глазах была светлая всепрощающая скорбь:

– Не надо никого вешать! Аристотель говорил, что Бог и природа ничего не создают напрасно. Мы должны были пройти через это. Представьте себе, что наша устоявшаяся, привычная жизнь – муравейник. И вдруг кто-то его разворошил. Что в подобном случае делают муравьи?

– На демонстрацию идут! – предположил с верхней полки Гоша: после кодирования он стал очень язвительным.

– Муравьи на демонстрации не ходят, – совершенно серьезно возразил профессор. – Они спасаются: кто-то спасает иголку, кто-то – личинку, кто-то запасы корма... А потом через какое-то время муравейник восстанавливается. И становится даже больше, красивее и удобнее, чем прежний. Вспомните, в «Фаусте» есть слова про силу, которая, творя зло, совершает добро...

Постепенно в его голосе появились лекционные интонации.

– А если просто взять и набить морду?! – снова встрял Гоша.

– Кому? – уточнил Юрий Арсеньевич.

– Тому, кто разворошил муравейник!

– Муравей не может набить морду. Он может только попытаться спасти себя и близких.

– И ждать, пока зло обернется добром? – поинтересовался Башмаков.

– А как вы, Юрий Арсеньевич, относитесь к той силе, которая хочет творить добро, а совершает зло? – вдруг спросил Каракозин.

– Простите, а кто вы по специальности?

– Обивщик дверей. Но по призванию я борец за лучшее!

– Борьба за лучшее – понятие очень относительное! – ответил профессор (его голос обрел полноценную академическую снисходительность). – Я уже показал вам, что разрушение – один из способов совершенствования. Так, например, нынешнее могущество Японии – результат ее поражения во Второй мировой войне...

– Выходит, ты за Ельцина? – хмуро спросил Гоша.

– Как человек он мне отвратителен: тупой номенклатурный самодур. Но что ж поделаешь, если История для созидательного разрушения избрала монстра. Иван Грозный и Петр Первый тоже были далеки от идеала...

– А квартирку-то в центре Степногорска вспоминаете? – ехидно поинтересовался Гоша.

– Вспоминаю, конечно. Но давайте взглянем на проблему *sub specie aeterni*, как говаривал Спиноза.

– Переведите для идиотов! – попросил Каракозин.

– Простите, увлекся. Взглянем на эту ситуацию с точки зрения вечности. Солженицын прав: зачем нам это среднеазиатское подбрюшье? А вот если русские с окраин будут и далее возвращаться на историческую родину, то Россия хотя бы частично восстановит свой разрушенный катаклизмами XX века генофонд... Эта амбивалентность явления, надеюсь, понятна?

– Понятна, – кивнул Гоша. – Нас гребут, а мы крепчаем!

– Подождите, подождите, – вмешался Башмаков. – Значит, я могу убить собственную жену, а если во втором браке у меня родится гениальный ребенок, то с точки зрения истории меня оправдают?!

– Ерунду ты какую-то городишь! – заволновался Гоша о судьбе своей сестрички Кати.

– Вы, конечно, привели крайний пример, но, по сути, так оно и есть!

– Это так перипатетики думают или Спиноза? – съехидничал Каракозин, которого профессор-непротивленец начал бесить.

– Нет, это мое мнение.

– Тогда приготовь пятнадцать долларов! – посоветовал Гоша.

– Зачем? – испуганно, вмиг утратив академическую безмятежность, спросил философ.

– Докладываю: в Бресте придут большие злые муравьи. Они тоже восстанавливают свой домик. Им надо заплатить, чтобы они твои часы и сковородки вроде муравьиных яиц не унесли. Ясно?

– Да, конечно... Накладные расходы предусмотрены. Но у меня просьба... Вы за меня... Я не умею, понимаете...

– В лапу, что ли, давать не умеешь? – ухмыльнулся Гоша превосходительно.

– Да.

– Как же ты тогда торговать собираешься?

– Не знаю.

– Давайте выпьем за амбивалентность! – предложил Рыцарь Джедай.

Вскоре Юрий Арсеньевич окончательно захмелел, начал излагать свою теорию геополитического пульсирования нации, но на словах «инфильтрация этногенетического субстрата» уронил голову на стол и захрапел.

В Бресте дверь купе отъехала. На пороге стояла молодая блондинка в таможенной форме. Она окинула пассажиров рентгеновским взглядом. Но Каракозин, точно не замечая ее, продолжал петь под гитару:

Извилист путь и долог!

Легко ли муравью

Сквозь тысячи иголок

Тащить одну – свою...

Строгая таможенница как-то подобрела и песню дослушала до конца. Джедай отложил инструмент, посмотрел на вошедшую, схватился за сердце и объявил, что всегда мечтал полюбить женщину при исполнении. Таможенница улыбнулась нарисованным ртом и спросила:

– Ничего неположенного не везете?

– Везем, – с готовностью сознался Каракозин.

– Что?

– Стратегические запасы нежности. Разрешите вопрос не по уставу?

– Ну!

– Как вас зовут? Понимаете, я японский шпион. У меня секретное задание – выяснить имена самых красивых женщин в Белоруссии. Если я не выполню задание, мне сделают «кастракири»...

– Что?

– Самая страшная казнь. Хуже, чем харакири, в два раза...

– Ну, говоруны мне сегодня попались! – засмеялась женщина и заправила прядь под форменную фуражечку. – Лидия меня зовут.

– Как вино! – мечтательно вздохнул Джедай.

– Как вино, – многообещающе подтвердила она. – А багаж все-таки покажите!

Гоша, изумленно наблюдавший все это с верхней полки, мгновенно спрыгнул вниз и, подхалимски прихихикивая, начал показывать содержимое баулов. Лидия для порядку глянула багаж и лишь покачала головой, обнаружив под пластмассовым цветником промышленные залежи американских сигарет «Атлантик» и бутылки с национальной гордостью великороссов – водкой.

– А этот? – Таможенница кивнула на Юрия Арсеньевича, спавшего тем безмятежным алкогольным сном, после которого страшно болит голова и трясутся руки.

– А это профессор. Он книжки везет, – объяснил Джедай и кивнул на багажную нишу, откуда свешивались лямки огромной сумки.

Гоша, успевший вернуться на свою верхнюю полку, сделал Каракозину страшные глаза и даже крутанул пальцем у виска.

– Какие еще книжки? – удивилась таможенница.

– А вот – образец! – Джедай взял со столика и протянул ей «Перипатетиков».

– Боже, чем только люди не торгуют! Совсем народ дошел... – не по уставу вздохнула Лидия и, бросив на Рыцаря шальноватый взгляд, вышла из купе.

Следом за ней Гоша вытолкал и Джедая, предварительно сунув ему в руки сложенные в маленькие квадратики доллары. Тот вернулся минут через десять со следами помады на щеке и молча отдал сдачу.

– Смотри-ка, на пять долларов меньше взяла! – изумился Гоша.

– Любовь с первого взгляда! – поддел Башмаков. – Что же дальше будет?

– Ничего не будет, – вздохнул Каракозин и грустно уставился в окно.

Тем временем состав загнали в специальное депо и стали поднимать на домкратах, чтобы заменить колеса.

– А вы знаете, почему у нас железнодорожная колея шире? – спросил Башмаков.

– Кажется, царь Николай Первый так распорядился? – предположил разбуженный философ.

– Совершенно верно. Инженеры его спросили: будем как в европах дорогу строить или шире? А он им и ответил: «На хер шире?» Вот они и сделали почти на девять сантиметров шире...

– Всего-навсего? – удивился Башмаков.

– Я думаю, это просто исторический анекдот, – заметил Юрий Арсеньевич, облизывая пересохшие губы.

– Анекдот не анекдот, а птица-тройка навсегда обречена менять колеса, чтобы въехать в Европу! – Джедай глянул из спящих внизу железнодорожников.

– Пожалуй, – согласился философ. – Чаадаев сказал однажды: «...Мы никогда не будем, как они. Наша колея всегда будет шире...»

– И длиннее! – добавил сверху Гоша.

– Разумеется, – подтвердил профессор. – А как вы полагаете, у проводников есть пиво?

– Лучше чайком! – посоветовал Башмаков. – Сидите, я принесу.

Когда он воротился, неся в каждой руке по два стакана, спор в купе продолжался.

– А почему именно мы? – возмущался, свесившись с верхней полки, Гоша: после кодирования он стал страшно нетерпим к чужим мнениям.

– А почему они? – не соглашался Джедай.

– А почему мы должны делать колею уже?

– А почему они – шире?

– Может, нам еще на ихний алфавит перейти?

– Может, и перейти!

– По сути, – примирительно сказал философ, радостно отхлебнув чайку, – вы сейчас повторяете давний спор славянофилов и западников. Западники, фигурально говоря, считали: хватит играть в особый путь, мы должны сузить колею, чтобы беспрепятственно въезжать в Европу и со временем влиться в мировую цивилизацию! А славянофилы им возражали: нет, широкая колея – наша национально-историческая особенность и менять ничего не нужно. А Европа, если хочет с нами дружить, сама пусть свою колею расширяет... Каждый по-своему прав, а в итоге – тупик!

– Нет, должен быть какой-то выход, – твердо сказал Джедай. – Просто крутой поворот иногда издали кажется тупиком.

– Смотри на своем крутом повороте яйца не потеряй! – пробурчал Гоша, подозрительно принохиваясь к чаю.

– А нельзя ли так, – предложил Олег Трудович. – Они на четыре с половиной сантиметра свою колею увеличивают, а мы на четыре с половиной убавляем свою.

– Олег Толерантович, тебе надо в Кремле заседать, а не «челночить»! – захохотал Каракозин.

Колеса переставили, и они покатали дальше – в Польшу. На смену свеженьким церквушкам, полуразвалившимся деревням, раскисшим грунтовкам и раскидистым колхозным полям явились костлявые костелы, глянцевые после дождя шоссе, аккуратные домики под черепицей и мелко нарезанные обработанные участки.

В Варшаве они расстались. На прощание многоопытный Гоша посоветовал профессору:

– Цену не спускайте, пока не начнут гнать в шею. «Котлы» водонепроницаемые?

– Только одна модель, остальные проницаемые.

– Плохо, – покачал головой Гоша.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.